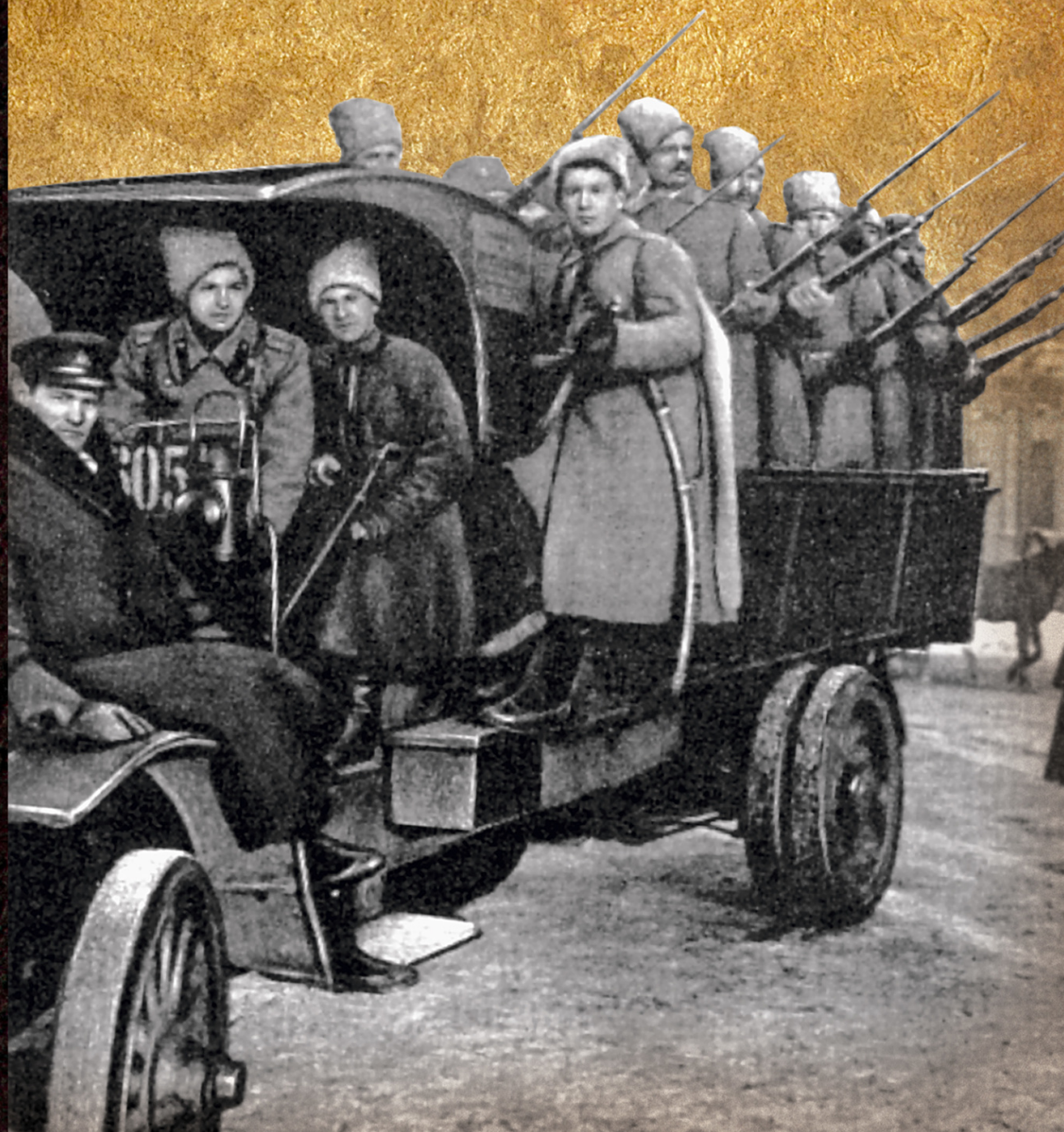


**РЕВОЛЮЦИЯ И ЦАРЬ**

# **МАРТОВСКИЕ ДНИ 1917 ГОДА**

**С.П. МЕЛЬГУНОВ**





Революция и царь

Сергей Мельгунов

**Мартовские дни 1917 года**

«ВЕЧЕ»

## **Мельгунов С. П.**

Мартовские дни 1917 года / С. П. Мельгунов — «ВЕЧЕ»,  
— (Революция и царь)

ISBN 978-5-4484-7337-1

Издательство «Вече» впервые в России представляет читателям увлекательную трилогию «Революция и царь» Сергея Петровича Мельгунова, посвященную сложнейшим коллизиям, которые привели к Февральским событиям, Октябрьскому перевороту и установлению в стране «красной диктатуры». В трилогию входят книги «Легенда о сепаратном мире. Канун революции», «Мартовские дни 1917 года», «Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки». Вторую книгу — труд «Мартовские дни 1917 года» — автор закончил еще в годы Второй мировой войны. Часть книги была опубликована в 1950—1954 гг. в эмигрантской газете «Возрождение», а полностью она увидела свет в Париже в 1961 г. Как и другие труды Мельгунова, эта книга поражает прежде всего скрупулезным анализом самого широкого круга источников, которые были доступны историку. Восстанавливая хронику Февральской революции буквально по часам, Мельгунов не только поднял весь пласт опубликованных документов и воспоминаний, но и лично опросил десятки участников событий, начав эту работу еще в России (до высылки в 1922 г.) и продолжив в эмиграции. В итоге получилось увлекательное исследование, в котором не только бурлит «живая хроника» мартовских дней, но и рассеиваются многочисленные мифы, вольно или невольно созданные участниками ушедших событий. Книга издана в авторской редакции с сохранением стилистики, сокращений и особенностей пунктуации оригинала.

ISBN 978-5-4484-7337-1

© Мельгунов С. П.

© ВЕЧЕ

## Содержание

«Мартовская одиссея» последнего императора России	6
Глава первая. Решающая ночь <sup>2</sup>	12
I. Среди советской демократии	15
1. Тактическое банкротство	15
2. Неожиданность революции	21
3. Спор о власти	23
II. В рядах цензовой общественности	26
1. Легенда о Государственной Думе	26
2. Впечатления первого дня	27
3. Переговоры	35
4. Настроения первого марта	41
Глава вторая. В поисках компромисса	47
I. Несостоявшаяся поездка Родзянко	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Сергей Мельгунов

## Мартовские дни 1917 года

### «Мартовская одиссея» последнего императора России

«Ничто не таит так много тайн, как история» – эти слова можно было бы предпослать в качестве эпиграфа к книге С.П. Мельгунова «Мартовские дни 1917 года», впервые предлагаемой вниманию российских читателей. Уж очень эта книга напоминает детективное расследование, предпринятое смелым историком для раскрытия таинственного явления, каковым до сих пор остается для миллионов россиян Февральская революция, сломавшая вековые устои великой империи. Да и действующими лицами в книге выступают, словно в каком-нибудь криминальном романе, император и императрица, великие князья и генералы, заговорщики и революционеры...

Сергей Петрович Мельгунов (1879—1956) всю свою жизнь посвятил выполнению благородной миссии историка, испытав непреодолимую тягу к загадкам минувшего еще с гимназических лет<sup>1</sup>. Совмещая занятия историей с активной общественной деятельностью, журналистикой, книгоиздательскими делами, он приобрел широкую известность в 10-е годы XX века. Особый интерес историка вызывал тогда период XVI—XIX веков в летописи нашего Отечества. Однако прогремевшие вскоре революционные взрывы, переход власти к большевикам, страшная братоубийственная война переместили внимание исследователя на пережитые им вместе с Россией «смутные годы».

Мельгунов не был простым созерцателем этих «смутных лет», а выступал в качестве их заметного действующего лица. С первых послеоктябрьских дней он, будучи одним из руководителей партии народных социалистов, а затем контрреволюционного «Союза возрождения России», вел непреклонную борьбу против советской власти. На этом небезопасном поприще ему суждено было пережить 23 обыска, 5 арестов, полтора года тюремного заключения, полгода жизни на нелегальном положении, громкий политический процесс, чуть не окончившийся расстрелом, и высылку в конце 1922 года за границу. В эмиграции историк, продолжая политическую и издательскую деятельность, все свои силы отдал созданию монументальной исторической эпопеи, запечатлевшей в более чем в десяти книгах – «Легенда о сепаратном мире», «На путях к дворцовому перевороту», «Мартовские дни 1917 года», «“Золотой немецкий ключ” к большевистской революции», «Как большевики захватили власть», «Судьба императора Николая II после отречения», «Н.В. Чайковский в годы Гражданской войны», «Трагедия адмирала Колчака», «Красный террор в России» и других – «грозовые годы» (1916—1923 гг.), потрясшие страну и неузнаваемо изменившие ее облик.

Труды Мельгунова дают право называть его крупнейшим историком русского зарубежья, чье полное наследие рано или поздно станет достоянием гласности на его родине. Теперь российским читателям предстоит новая встреча с книгой историка «Мартовские дни 1917 года», входящей в трилогию «Революция и царь», которую автор задумал еще в 30-е годы. Своей основной целью он поставил задачу воссоздания трагической одиссеи последнего российского императора с предреволюционного 1916 года, когда только еще вызревали условия будущего взрыва, сквозь раскаты Февральской революции и Октябрьского переворота, вплоть до расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Ясное дело, что описать эту одиссею можно было только

---

<sup>1</sup> Подробный очерк о жизни, творческой деятельности и трудах С.П. Мельгунова см. в предисловии к выпущенной издательством «Вече» в 2006 г. книге С.П. Мельгунова «Судьба императора Николая II после отречения»: Дмитриев С.Н. Крестный путь тринадцатого императора. Об историке С.П. Мельгунове и его книге (М., Вече, 2006).

на фоне грозных событий 1916—1918 годов, пытаясь распутать те загадочные узлы и пружины, которые привели в движение маховик исторических потрясений. В итоге труд историка вылился в объемную 1500-страничную трилогию.

В первой книге «Легенда о сепаратном мире. Канун революции», вышедшей в Париже уже после смерти историка в 1957 году, автор подробно и доказательно разбил легенду о предательстве Николая II и Александры Федоровны, ставшую расхожей в предфевральские дни и использованную заговорщиками против императора в полной мере. «По отношению к Царю и Царице дореволюционная легенда, – сделал вывод историк, – должна быть отнесена к числу грубых и сугубо несправедливых клевет, демагогически использованных в свое время в политической борьбе с режимом; никаких шагов к заключению сепаратного мира царское правительство не делало; никаких центров или организованных общественных групп, осуществлявших заранее установленный план заключения мира с Германией в дореволюционное время, не существовало, и никаких ответственных переговоров за кулисами по этому поводу не велось».

Второй книгой трилогии как раз и стал труд «Мартовские дни 1917 года», который автор закончил еще в годы Второй мировой войны, когда ему, пережившему революционное лихолетье в России, пришлось ощутить на себе теперь уже коллизии фашистской оккупации Франции. Сколько тяжелых раздумий навевали бурлившие вокруг события в сознании историка, сравнивавшего две эпохи мировых катаклизмов, мы уже вряд ли сможем узнать, но то, что С.П. Мельгунов не остановил своей работы, а еще более глубоко погрузился в бездну событий 1917 года, говорит о многом. Значит, и в период очередного крушения мира его продолжала волновать еще не осмысленная до конца трагедия России в целом и ее последнего правителя в частности.

Часть книги была опубликована в 1950—1954 годах в эмигрантской газете «Возрождение», а увидела она свет полностью только в 1961 году в Париже благодаря усилиям супруги историка П.Е. Мельгуновой-Степановой. Как и другие труды Мельгунова, эта книга поражает прежде всего скрупулезным анализом самого широкого круга источников, которые только были доступны историку. Восстанавливая хронику Февральской революции буквально по часам, он не только поднял весь пласт опубликованных документов и воспоминаний, но и лично опросил десятки участников событий, начав эту работу еще в России до высылки в 1922 году и продолжив в эмиграции. В итоге получилось увлекательное исследование, в котором не только бурлит «живая хроника» мартовских дней, но и рассеиваются многочисленные мифы, созданные вольно или невольно участниками ушедших событий с той или иной целью и подоплекой. Пожалуй, в российской историографии настоящий труд С.П. Мельгунова до сих пор остается одним из самых фундаментальных исследований Февраля и роли в истории революции Николая II.

Подробный анализ книги С.П. Мельгунова с широким комментированием и привлечением новых документов еще впереди, мы же попытаемся вкратце осветить те основные легенды и мифы, которые автору пришлось «разбивать» на ее страницах. Он неоднократно подчеркивал, что в период революционной смуты «одна легенда порождала другую» и что эти легенды, бывало, рождались уже «на другой день после событий». Таковы были наглядные особенности той эпохи, до сих пор заставляющие историков выступать в роли дотошных следователей.

Какие же головоломки удалось разгадать историку в борьбе с застоявшимися мифами «мартовских дней»?..

1. Вопреки позднейшим заверениям революционеров, заговорщиков и думских деятелей, Мельгунов утверждает, что «февральские события в Петербурге, их размах, отклик на них и итог оказались решительно для всех неожиданными», что «ни одна партия непосредственно не готовилась к перевороту», что «революционный взрыв не имел *никакого отношения* к роспуску Думы, о котором масса ничего не знала», и что «тогдашняя Дума не годилась для возглавления революции». Историк приходит к выводу, что «не Дума руководила стихией,

а стихия влекла за собой Временный комитет», который без поддержки Советов не смог бы «водворить даже подобие порядка».

2. Историк особо подчеркивает то близорукое «опьянение», которое охватило в первые дни «свободы» всех, даже убежденных монархистов. Мудрые голоса, предупреждавшие об опасности анархии, развала власти страны, «тонули в общей атмосфере повышенного оптимизма». Охвативший всех «психоз говорения» и свободолюбивых речей затмил собой последние крупницы сдержанности, и это рано или поздно не могло не обернуться трагическими последствиями.

3. Автор показывает, что народ в первые дни революции «был совершенно чужд мысли о цареубийстве», призыв «“Смерть тирану” не звучал в период Временного правительства нигде и никогда». Однако этот лозунг родился и пестовался в среде дореволюционных участников дворцового переворота, в том числе националистов и монархистов. Не стихия требовала «устранения монарха», а либеральные общественные деятели, как это было уже не раз, проявляли свои кровожадные устремления.

4. Мельгунов рассеивает легенду о том, что поездка А.И. Гучкова и В.И. Шульгина в Псков к императору была якобы «секретной»: она осуществлялась с одобрения думских деятелей при молчаливом согласии верхушки Советов. Причем ехали они то ли «просить об ответственном министерстве», то ли добиваться отречения. Показательно, что, выступая перед толпой у царского вагона после подписания императором манифеста об отречении, Гучков заявил: «Государь дал больше, нежели мы ожидали». Историк приводит в книге много свидетельств того, что на самом деле имело место *добровольное отречение* императора, а не вынужденное или «вытребованное» думскими деятелями и заговорщиками.

5. Мельгунов рассеивает миф о чрезмерном количестве жертв революции и о существовавшей якобы «специфической атмосфере убийств» в первые ее дни. Отдельные эксцессы, единичные случаи убийств офицеров не отменяют в целом *бескровного* характера революции, особенно в отношении самих революционеров. Достаточно упомянуть о поведении генерала П.Н. Врангеля, который «постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями Наследника Цесаревича на погонах... и за все время не имел *ни одного столкновения*».

6. Автор опровергает и еще один миф о якобы страшной угрозе, которая исходила от карательной экспедиции «почтенного по возрасту» и «мягкого» по характеру генерала Иванова. «В действительности, со стороны Ивановского отряда никакой опасности не могло быть... потому что ни одну воинскую часть нельзя было направить против восставшего народа». Иванов сам, чтобы избежать возможных столкновений, вывел свой батальон из Царского Села на станцию Вырица и даже не собирался, по указанию царя, вводить войска в Петербург. 2 марта ночью он получил от Николая II следующую телеграмму: «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне *никаких мер не предпринимать*». Никаких действий вообще и не предпринималось. Уже 3 марта генерал выехал со своим батальоном в Ставку в Могилев. Если бы не фантазии многих мемуаристов, то тезис о готовности императора залить революцию кровью вообще не имел бы под собой почвы.

7. Автор разбирает и легенду о том, что Временное правительство было создано якобы «еще в 1916 г.». На самом деле оно оформилось лишь в дневные часы 2 марта 1917 года, когда участники его создания «взяли старый ходячий список проектированного думского “министерства доверия” и подбавили к нему новых людей, которых, казалось, выдвигала создававшаяся конъюнктура». Именно так туда попал А.Ф. Керенский, который, используя свои бесспорные актерские способности, сразу же оказался «самым популярным человеком» революционных дней.

Удивительно, но в своей книге С.П. Мельгунов ни разу даже не упомянул о масонских связях, которые скрепляли «верхушку» деятелей Февральской революции и которые он обстоятельно описал в другой своей книге – «На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед



революцией 1917 года», написанной им 15 годами раньше, изданную в Париже в 1931 году и выпущенную в России только в 2004 году. Хотя автор заявил тогда, что «современнику очень щекотливо раскрывать чужие тайны», он все-таки, благодаря привлечению широкого круга источников и личным опросам ряда заговорщиков, доказал «несомненную связь между заговорщической деятельностью и русским масонством эпохи мировой войны». По мнению Мельгунова, масонство «большой революционной силой» не было, а масонская форма в российской обстановке не могла «содействовать политическому объединению». Между тем именно «масонская ячейка» была «связующим как бы звеном между отдельными группами “заговорщиков” – той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями».

Видимо, по прошествии лет Мельгунов еще более убедился в том, что этой «дирижерской палочке» не очень-то удавалось управлять событиями, а наоборот, череда быстротечных событий диктовала ее «лихорадочные движения». «Музыку заказывала» народная стихия, потому-то революции и называются революциями. «Взбаламученный океан революционных страстей» вел «утлую ладью» России в бездну еще более страшных испытаний и потрясений, и масонам, хотя они и оказались в составе буржуазного правительства, было не под силу остановить это движение.

В «Мартовских днях» автор, имея в виду заговорщиков, писал: «Никакого конкретного плана действий у них не было, если не считать довольно расплывчатых проектов дворцового переворота, в которые были посвящены немногие...» Он привел огромное количество доказательств того, что люди, которых вынес наверх поток «революционной лавы», оказались просто неспособны руководить огромной страной.

8. Самой интересной частью книги Мельгунова, безусловно, является описание им драмы отречения Николая II, которая насыщена такими яркими коллизиями и детективными сюжетами, что впору создавать на ее основе авантюрно-историческую пьесу. По ходу этого описания историк доказывает, что царская «свита не могла оказывать заметного влияния на политические решения монарха» в силу особенностей его характера, что царь «вовсе не был готов утопить в крови народное восстание», понимая опасность междоусобной борьбы в период продолжавшейся войны, что никакого провоцирования революции якобы для заключения сепаратного мира не было, тем более с помощью так называемых «протопоповских пулеметов» (по фамилии министра внутренних дел), которыми будто бы с крыш расстреливали толпу.

9. Блуждания императорского поезда по пути следования из Могилева в Царское Село историк объясняет не действиями революционных железнодорожников, а хаосом, который быстро наступил на железной дороге благодаря стечению обстоятельств. Объясняя поведение императора, Мельгунов справедливо писал: «Едва ли “последний самодержец” принадлежал к числу боевых натур, которых опасность возбуждает и заставляет идти на риск. Скорее ему присуща была некоторая пассивность перед роком – мистическая покорность судьбе...» Именно эта покорность и готовность принять выпавшие на его долю испытания и заставили царя в условиях революционного взрыва пойти на отречение. В эти дни император заявил, что «лично не держится за власть, но только не может принять решение против своей воли и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может считать, что он сам не ответствен перед Богом».

Накануне отречения император вообще заявил, «что его убеждение твердо, что он рожден для несчастья, что он приносит несчастье России». «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это, – сказал Николай II, – но я опасюсь, что народ этого не поймет».

Фактически император отрекся от престола около 15 часов 2 марта в пользу своего сына Алексея при регентстве его брата великого князя Михаила Александровича, задолго до приезда в Псков посланцев Временного Комитета Государственной Думы А.И. Гучкова и В.И. Шульгина. Историк еще и еще раз подчеркивает, что сделал это государь *добровольно*, без вся-

кого давления на него думских делегатов. Около 19 часов того же дня (Гучков и Шульгин прибыли около 21 часа) под влиянием разговора с лейб-медиком Федоровым он решил изменить форму отречения и отречься за сына в пользу брата, прежде всего испытывая беспокойство о здоровье и будущей судьбе Алексея. Показательно, что сами посланцы не ожидали такого быстрого и важного решения императора. Покоряясь судьбе и думая, что династия все же будет сохранена в России, царь внешне примирился со своей личной катастрофой, но многое говорят слова его дневника, подводившие итог 2 марта: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман».

Историк прав, что «мистическая покорность судьбе» во многом определяла сущность характера императора. Да и могло ли быть иначе с государем, на которого пало самое тяжелое испытание за все годы правления Романовых, тем более в период глобальных потрясений, похоронивших не одну империю? Ему не хватило ни сил, ни последовательной, выверенной политики, чтобы предотвратить катастрофу, признаки которой накапливались долгие годы. Однако это обстоятельство ничуть не умаляет, а наоборот, подчеркивает то благородство и честь, с которыми император встретил свое отречение.

10. Историк далее опровергает легенду о том, что император якобы 3 марта передумал отречься в пользу брата Михаила Александровича и опять согласился на вступление на престол Алексея. Наоборот, узнав об отречении своего брата, он лишь возмутился его поддержке выборов в Учредительное собрание и выразил удовлетворение тем, что беспорядки в Петербурге прекратились – «лишь бы так продолжалось дальше».

11. Развенчивает Мельгунов и тезис о «кровожадности» Александры Федоровны, которая, находясь в Царскосельском дворце, несколько раз приходила к солдатам охраны и уговаривала их «не стрелять, быть хладнокровными... Я готова все претерпеть, только не хочу крови...» Автор неоднократно выражает свое уважение перед императрицей, которая так же, как и ее супруг, в тяжкие дни потрясений проявила стойкость, веру, жизненную мудрость и жертвенную любовь к Николаю II.

12. Мельгунов разоблачает также миф о безупречном поведении деятелей демократии, оказавшихся у власти, и приводит множество примеров обратного. Чего стоит хотя бы заявление А.Ф. Керенского в момент отречения Михаила Александровича о том, что он будет всегда защищать великого князя как «благородного человека». Пройдет немногим более 5 месяцев, и по личному распоряжению Керенского Михаил Александрович будет арестован, и это сыграет важную роль в дальнейшей трагической гибели великого князя.

Историк, подчеркивая особый характер революции, значительное количество страниц посвящает тому, чтобы показать бессилие и самообман деятелей Временного правительства, которые не использовали выпавший на их долю шанс, и даже в условиях своей популярности постепенно отдавали реальные рычаги власти в руки Советов. Уже 6 марта Г.Е. Львов жаловался: «...Догнать бурное развитие невозможно, события несут нас, а не мы ими управляем». Ему вторил А.И. Гучков, утверждавший 9 марта: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет Р. и С.Д. ...Можно прямо сказать, что Временное правительство существует лишь, пока это допускается Советом Р. и С. Д.».

Насколько прав оказался П.Н. Милюков, который как никто другой в первые дни революции предвидел надвигающуюся на Россию катастрофу: «Сильная власть, необходимая для укрепления порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Временное правительство одно без монарха... является утлой ладьей, которая может потонуть в океане подводных волнений; стране при таких условиях может грозить потеря всякого сознания государственности и полная анархия, раньше, чем соберется Учредительное собрание, Временное правительство одно до него не доживет». И действительно не дожило!

По мнению Мельгунова, самой роковой ошибкой новой власти стала отсрочка выборов в Учредительное собрание. Он соглашается с утверждением французского посла в Петербурге Нуланса, что «Россия избегла бы октябрьского переворота, если бы не было отложено Учредительное собрание».

Такой оказалась зловещая усмешка хозяйки человеческих судеб – Истории, которая провела Россию через эйфорию «мартовских дней», отречение последнего императора и демократические выверты противоборства партий и классов к невиданному доселе социальному эксперименту и новой «пролетарской» власти, по сравнению с которой ненавистный всем режим монархии показался вскоре мягкотелым и чрезмерно гуманным.

«Исторический путь, – по словам Мельгунова, – шел не по тем линиям, которые намечались теоретическими выкладками политиков». Об этом показательном опыте не должны забывать в нынешнее переходное время и мы. Россия вновь стоит на развилке исторических путей, и окажутся ли на высоте политики, которым История доверила очередной шанс сделать наше Отечество процветающим и могучим? Не пустит ли снова на самотек «стихию событий» российский народ, который уже не раз проявлял роковую близорукость и слабование в годину суровых испытаний?..

*С.Н. Дмитриев,  
кандидат исторических наук,  
сентябрь 2005 г.*

## Глава первая. Решающая ночь<sup>2</sup>

Днем 2 марта, на перманентном митинге в Екатерининском зале Таврического дворца лидер думского прогрессивного блока и идейный руководитель образовавшегося 27 февраля Временного Комитета членов Гос. Думы, Милюков, сказал: «Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен». Почти в тот же час в Пскове, под давлением верховного командования в Ставке, «старый деспот» подписал свое отречение от престола, окончательно оформленное вечером того же дня в момент приезда «думской» делегации в лице Гучкова и Шульгина. Таким образом, отречение Государя «формально» не было «вынужденным» – устанавливает в своих воспоминаниях Набоков, выдающийся русский юрист, которому суждено было сделаться первым управляющим делами революционного Временного правительства.

Насколько, однако, формальная юридическая сторона соответствовала реальной обстановке, создавшейся в Петербурге и являвшейся решающим фактором в ходе революции? Это совсем не праздный вопрос, ибо ответ на него определяет собою две совершенно отличные друг от друга психологии в круге лиц, объединившихся около Временного Комитета Г.Д. и одновременно появившегося наряду с ним Совета Р. и С.Д., т.е. тех учреждений, которые обстоятельства поставили в те дни как бы «во главе» политической жизни страны. Для одних Николай II добровольно отрекся от престола, для других он был низложен – его отречение было «вынуждено», и добровольный отказ от власти, затушеванный в сознании современников, означал лишь то, что Император фактически не был свергнут насильственным путем, т.е. революционным актом восставшего народа. Формально добровольное отречение неизбежно накладывало известные моральные обязательства на тех, кто стремился добиться этого отречения и кто его принял; такого морального обязательства могли не ощущать те, кто не принимал участия в реализации плана сохранения династии путем устранения лично дискредитированного монарха: для них исходным пунктом мог быть только вопрос о целесообразности – так, как он представлялся тогда в понимании действовавших лиц.

Для того чтобы уяснить себе роковые противоречия, которые выявились в первые дни революции в силу недостаточно продуманных и *ad hoc* осуществленных политических замыслов, необходимо проанализировать всю сложную и запутанную обстановку того времени. Никто как-то не отдавал себе ясного отчета в этих противоречиях тогда, когда закладывался фундамент строительства новой России.

Нам нет необходимости в хронологической последовательности воспроизводить события первых февральско-мартовских дней, что сделано уже с достаточной полнотой и отчетливостью в «Хронике февральской революции», составленной Заславским и Канторовичем (1924 г.) и в работе ген. Мартынова<sup>3</sup> «Царская армия в февральском перевороте» (1927 г.). К этим фактам мы будем обращаться лишь попутно, комментируя то или иное создавшееся положение. Прежде всего попытаемся восстановить картину ответственных переговоров, которые в ночь с 1-го на 2-е марта происходили между Временным Комитетом Г.Д. – «цензовой» ответственностью по тогдашней терминологии, и делегатами Исп. Ком. Совета, заявившего «претензию» представлять демократию<sup>4</sup>. Это была поистине решающая ночь, и здесь завязался узел

---

<sup>2</sup> Изложенные ниже факты с достаточной очевидностью свидетельствуют, что революции всегда происходят не так, как они представляются схоластическим умам. Поэтому и не жизненны современные измышления всякого рода «молекулярных теорий» революционных процессов.

<sup>3</sup> Дополнением к ним может послужить очерк Шляпникова, посвященный «Революции 17 г.», и Генкиной в коллективной работе по «Истории октябрьской революции» (1927 г.).

<sup>4</sup> Так выразился Милюков в своей истории революции. Между тем, поскольку самочинно возникший Временный Комитет выражал мнение «цензовой общественности», постольку и «самозванный» Совет мог считаться выразителем настроений

последующей трагедии русской революции. Между тем восстановить более или менее точно то, что происходило в указанную ночь, историку очень трудно. В нашем распоряжении нет почти никаких документальных данных. В суматохе первых дней и ночей никто никаких протоколов не вел: отсутствует и газетный репортаж, подчас заменяющий своим суррогатом протокольную запись – в «Известиях», которые издавал Комитет думских журналистов, нельзя отыскать никаких намеков на суть переговоров. Остаются воспоминания, т.е. показания современников, которые должны помочь историку в данном случае не только в «оценке подробностей» (Маклаков), но и в установке первооснов. Значение этого субъективного самого по себе источника познания прошлого в данном случае бесконечно преуменьшается не только привнесением последующих настроений, весьма отличных от подлинных авторских настроений первых дней революции, но и тем, что пелена тумана бессознательно для мемуариста застилает его память о том, что происходило в бессонные ночи и сумбурные февральские и мартовские дни.

Несколько мемуаристов уже коснулись исторической ночи с 1-го на 2-е марта. Казалось, можно было положиться на текст Милюкова, так как первый том его «Истории», приближающейся к воспоминаниям, написан был в Киеве в 18-м году в период политического полубезделья автора. Память мемуариста не застлана была еще его позднейшей политической эволюцией, и, таким образом, ему нетрудно было по сравнительно свежим впечатлениям воспроизвести историю переговоров между членами Думы и советскими делегатами, в которых автор принимал самое непосредственное участие – тем более что в показаниях перед Чрезв. Сл. Комиссией (7 августа 17 г.) Милюков засвидетельствовал, что им были проредактированы и исправлены «неточности», имеющиеся в готовившейся Врем. Комитетом Г.Д. к изданию книге, где было дано «точное описание день за днем, как происходило». (Я никогда не видел этой книги и нигде не встречал ссылок на нее – надо думать, что она в действительности не была издана.) И тем не менее суммарное изложение Милюкова с большими фактическими ошибками не дает нужных ответов...

Имеются и воспоминания Керенского, но только во французском издании его «Революции 17 г.». Бывший мемуарист хочет быть очень точным. Им указываются даже часы ответственных решений в эти дни. Но это только внешняя точность, ибо даты безнадежно спутаны (выпустив книгу в 28 году, автор, следуя установившимся плохим традициям многих мемуаристов, не потрудился навести соответствующие справки и повествует исключительно по памяти). Память Керенского так же сумбузна, как сумбузны сами события, в которых ему пришлось играть активнейшую роль, когда он падал в обморок от напряжения и усталости и когда, по его собственным словам, он действовал как бы в тумане и руководствовался больше инстинктом, нежели разумом. При таких условиях не могла получиться фотография того, что было в 17 году (на это Керенский претендовал в своих парижских докладах). Нет ничего удивительного, что тогда у него не было ни времени, ни возможности вдумываться в происшедшие события. В воспоминаниях он пытается объяснить свое равнодушие к программным вопросам тем, что никакие программы не могли изменить ход событий, что академические споры не представляли никакого интереса, и что в силу этого он не принимал в них участия... Поэтому все самое существенное прошло мимо сознания мемуариста, самоутешающегося тем, что события не могли идти другим путем, и даже издевающегося над несчастными смертными («Pauvres etres humains»), которые думают по-иному.

Еще меньше можно извлечь из воспоминаний Шульгина «Дни», которым повезло в литературе и на которые так часто ссылаются. Воспоминания Шульгина – «живая фотография тех бурных дней» (отзыв Тхоржевского) – надо отнести к числу полубеллетристических произведений, не могущих служить канвой для исторического повествования: вымысел от действитель-

---

демократии (социалистической и рабочей массы). Термин «цензовая общественность», конечно, далеко не покрывал собой те многочисленные элементы, демократические по своему составу, которые примыкали к «надклассовой» партии народной свободы.



ности не всегда у него можно отделить, к тому же такого вымысла, сознательного и бессознательного, слишком много – автор сам признается, что впечатления от пережитого смешались у него в какую-то «кошмарную кашу». Воспоминания Шульгина могли бы служить для характеристики психологических переживаний момента, если бы только на них не сказывалась так определенно дата – 1925 год. Тенденциозность автора просачивается через все поры<sup>5</sup>.

Более надежными являются «Записки о революции» Суханова, где наиболее подробно и в хронологической последовательности изложены перипетии, связанные с переговорами в ночь на 2-е марта. Большая точность изложения объясняется не только свойствами мемуариста, игравшего первенствующую роль со стороны Исп. Ком. в переговорах, но и тем, что еще 23 марта ему было поручено Исп. Ком. составить очерк переговоров. Суханов поручения не выполнил, но, очевидно, подобрал предварительно соответствующий материал: поэтому он так отчетливо запомнил «все» до пятого дня – это была «сплошная цепь воспоминаний, когда в голове запечатлевался чуть ли не каждый час незабвенных дней». И совершенно неизбежно в основу рассказа надо положить изложение Суханова, хотя и слишком очевидно, что иногда автор теоретические обоснования подводит *post factum* и себе приписывает более действенную, провидящую роль, нежели она была в действительности.

---

<sup>5</sup> Между тем сам Шульгин высокого мнения о своих заданиях – в книге «1920 г.» он, между прочим, пишет: о русской революции «будет написано столько же лжи, сколько о французской, и поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдиво изобразить то, что... происходило перед нашими глазами».

## I. Среди советской демократии

### 1. Тактическое банкротство

По чьей инициативе начались переговоры. Представитель крайнего течения, большевик Шляпников, определенно утверждает, что Исп. Ком. стал обсуждать вопрос о конструкции власти по «официальному предложению» со стороны Комитета Гос. Думы. Противоположную версию устанавливает другой представитель «революционной демократии», Суханов, не принадлежавший к группе лиц, входящих в ленинскую фалангу; понимая, что «проблема власти» – основная в революции, именно он настаивал на обсуждении ее в Исп. Ком., и по его инициативе возникла мысль о необходимости вступить в переговоры с представителями «цензовой общественности». Версия Суханова, как увидим, более достоверна<sup>6</sup>, хотя Стеклов, официальный докладчик Исп. Ком. на Совещании Советов 30 марта, дававший через месяц отчет перед собранием и рассказавший историю «переговоров», развивал то же положение, что и Шляпников: думский-де Комитет начал переговоры «по собственной инициативе» и вел их с советскими представителями, как с «равноправной политической стороной».

Так или иначе вопрос об организации власти подвергся обсуждению в Исп. Комитете днем 1 марта – вернее урывками происходил довольно случайный и бессистемный обмен мнений по этому поводу, так как текущие вопросы («куча вермишели», по выражению Суханова) постоянно отвлекали внимание. Беседы происходили, как утверждает Шляпников, в связи с сообщением Чхеидзе, что Врем. Комитет, взяв на себя почин организации власти, не может составить правительство без вхождения в него «представителей левых партий». Намечались три течения: одно из них (согласно традиционной догме) отвергало участие социалистов во власти в период так называемой «буржуазной» революции; другое (крайнее) требовало взять управление в свои руки; третье настаивало на соглашении с «цензовыми элементами», т.е. споры шли по схеме: власть буржуазная, коалиционная или демократическая (социалистическая). В 6-м часу Исп. Ком. вплотную подошел к разрешению проблемы власти и даже подверг вопрос баллотировке, причем 13 голосами против 7 или 8 постановил не входить в цензовое правительство.

Впоследствии была выдвинута стройная теоретическая схема аргументаций, объяснявшая, почему демократия, которой якобы фактически принадлежала власть в первые дни революции в Петербурге, отказалась от выполнения павшей на нее миссии. Такую попытку сделал Суханов в «Записках о революции». Другой представитель «советской демократии», Чернов, непосредственно не участвовавший еще в то время в революционных событиях, касаясь в своей исторической работе «Рождение революционной России» решения передать власть «цензовой» демократии, не без основания замечает, что в данном случае победила «не теория, не доктрина», а «непосредственное ощущение обузы власти» и желание свалить эту обузу под соусом теоретического обоснования на «плечи цензовиков». Пять причин, побуждавших к такому действию и свидетельствовавших об отсутствии «политической зрелости» и о «тактическом банкротстве» руководящего ядра, исчисляет Чернов: 1. Не хватало программного единодушия. 2. Цензовая демократия была налицо «во всеоружии всех своих духовных и политических ресурсов», революционная же демократия была представлена на месте действия случайными элементами, «силами далеко не первого, часто даже и не второго, а третьего,

---

<sup>6</sup> Надо иметь в виду, что Шляпников в эти дни работал в значительной степени на периферии и был поглощен текущей работой (непосредственным участием в «боевом» действии и мало интересовался вопросом, что из «этого выйдет»). Последовательный «революционизм» мешал ему, уже в качестве мемуариста, признать инициативу, исходившую от советских кругов.

четвертого и пятого калибра». Самые квалифицированные силы революционной демократии находились в далекой ссылке или в еще более далеком изгнании. 3. У цензовиков были «все-российские имена», руководители же революционной демократии за немногими исключениями являлись «для широкого общественного мнения загадочными незнакомцами», о которых враги могли «распространять какие угодно легенды». 4. Крупнейшие деятели рев. демократии были «абсолютно незнакомы с техникою государственного управления и аппаратом его», и «прыжок из заброшенного сибирского улуса или колонии изгнанников в Женеве на скамьи правительства был для них сходен – с переселением на другую планету». 5. «Буржуазные партии» имели за собой свыше десяти лет открытого существования и устойчивой, гласной организации – трудовые, социалистические и революционные партии держались почти всегда лишь на голом скелете кадров «профессиональных революционеров».

Пространную аргументацию несколько кичливых представителей эмигрантских «штабов»<sup>7</sup> – подобную же аргументацию развивает и Троцкий в «Истории русской революции» – можно было бы кратко подытожить словами Милюкова на упомянутом митинге 2 марта в Екатерининском зале Таврического дворца, когда бывший лидер думской оппозиции с большим преувеличением говорил о единственно организованной «цензовой общественности». Во всех этих соображениях имеется, конечно, доля истины, но все они аннулировались в тот момент аргументом, который представляло собой настроение масс и сочувствие последних революционным партиям. «Престиж Думы» был огромен, несравним с вожаками левых, известных лишь в узком круге, – усиленно подчеркивает и Маклаков, а между тем для успокоения революционной стихии имело огромное значение вхождение именно Керенского в состав Временного правительства, причем играло роль само по себе не имя депутата, а его принадлежность к революционной демократии. Оспаривать этот факт не приходится, так как сама военная власть с мест, где разбушевала стихия, систематически взывала в первые дни к новой власти и требовала прибытия Керенского. Неоспоримо, что правительство, составленное из наличных членов Исп. Ком., было бы весьма неавторитетно, но почти столь же неоспоримо, что революционная общественность могла бы составить такое правительство из имен более или менее «всероссийских», которое имело бы в те дни, быть может, больше влияния, чем случайно составленное и не соответствовавшее моменту «Временное правительство», которое приняло бразды правления в революционное время<sup>8</sup>.

Основная причина «передачи» власти цензовым элементам, или, вернее, отказ от каких-либо самостоятельных попыток создать однородное демократическо-социалистическое правительство, лежала не в сознании непосильной для демократии «обузы власти», а в полной еще неуверенности в завтрашнем дне. В этом откровенно признавался впоследствии в Советании Советов докладчик о «временном правительстве» Стеклов – один из тех, кто непосредственно участвовал в ночных переговорах 1—2 марта: «...когда намечалось... соглашение, было совсем неясно, восторжествует ли революция не только в форме революционно-демократической, но даже в форме умеренно-буржуазной. Вы... которые не были здесь, в Петрограде, и не переживали этой революционной горячки, представить себе не можете, как мы жили: окруженные вокруг Думы отдельными солдатскими взводами, не имеющими даже унтер-офицеров, не успевши еще сформировать никакой политической программы движения... Нам не было известно настроение войск вообще, настроение Царскосельского гарнизона, и имелись сведения, что они идут на нас. Мы получали слухи, что с севера идут пять полков, что ген. Иванов ведет 26 эшелонов, на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что эта сла-

<sup>7</sup> Надо признать, что появление на исторической авансцене представителей политической эмиграции – «людей знания», которых на мартовском съезде к.-д. приветствовал фактический вождь тогдашней «цензовой общественности», – ничего положительного революции не дало: слишком оторвались они от реальной русской жизни.

<sup>8</sup> Вопрос о техническом правительственном аппарате не так уже неразрешим на практике. В 18 г. немцы разрешили его просто, создав при социалистическом кабинете «управляющих делами» – Fachminister.

бая группа, окружавшая дворец, будет разбита, и с минуты на минуту ждали, что вот придут, и если не расстреляют, то заберут нас. Мы же, как древние римляне, важно сидели и заседали, но полной уверенности в успехе революции в этот момент совершенно не было».

Слишком легко после того как события произошли, отвергнуть этот психологический момент и утверждать, что «царизм» распался, как карточный домик, что режим, сгнивший на корню, никакого сопротивления не мог оказать, что «военный разгром революции был немислим». Дело, конечно, было не так. Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления. Это почти «социологический» закон. У революции 17 года не было организованной реальной военной силы. Все участники революции согласны с тем, что цитадель революции – Таврический дворец – была в первые дни беззащитна. В ночь на 28 февраля находившиеся в Гос. Думе фактически не располагали ни одним ружьем – признает Керенский (La Verite). Имевшееся артиллерийское орудие было без снарядов, бездейственны были и пулеметы (Мстиславский). Потому так легко возникла паника в стенах Таврического дворца – и не только в первый день, как о том свидетельствуют мемуаристы: достаточно было дойти неверному слуху о сосредоточении в Академии Генеральн. Штаба 300 офицеров, вооруженных пулеметами, с целью нападения на революционную цитадель. Казалось, что небольшая организованная воинская часть без труда ликвидирует восстание или по крайней мере его внешний центр<sup>9</sup>. И если такой части не нашлось, то это объясняется не одной растерянностью разложившейся власти, а и тем, что уличное неорганизованное движение в критический момент оказалось сцеплено с Государственной Думой – поднять вооруженную руку против народного представительства психологически было уже труднее, учитывая то обстоятельство, что во время войны армия превратилась в сущности в «вооруженный народ», как то неоднократно признавалось в самом правительстве (см., напр., суждения в Совете министров в 15 году). Война парализовала в значительной степени волю к противодействию, и Суханов совершенно прав, утверждая, что Комитет Гос. Думы служил «довольно надежным прикрытием от царистской контрреволюции», отсюда рождалось впечатление, что власть «явно запускала движение», и подтверждалась распространенная легенда о «провокации».

Если в Петербурге 1 марта, когда решался вопрос о власти, переворот закончился уже победоносно, то оставалось еще неизвестным, как на столичные события реагирует страна и фронт. Керенский, не очень следящий за своими словами, в одной из последних книг (La Verite) писал, что к ночи 28-го вся страна с армией присоединилась к революции. Это можно еще с оговоркой сказать о второй столице Империи, где ночью 28-го было уже принято обращение Городской Думы к населению, говорившее, что «ради победы и спасения России Госуд. Дума вступила на путь решительной борьбы со старым и пагубным для нашей родины строем». Но народ, который должен был фактически устранить «от власти тех, кто защищал старый порядок, постыдное дело измены», 1 марта в сущности стал лишь «готовиться к бою», как выражается в своих воспоминаниях непосредственный наблюдатель событий, будущий комиссар градоначальства с.-р. Вознесенский. Полное бездействие власти под начальством ген. Мрозовского определило успех революции и ее бескровность: три солдата и рабочий – такова цифра жертв восстания в Москве... В матери русских городов – Киеве, где узнали о перевороте лишь 3-го и где в этот день газеты все же вышли с обычными «белыми местами», еще первого был арестован по ордеру губ. жанд. управления старый народоволец, отставн. полк.

<sup>9</sup> Таково же было ощущение и в Москве. Первый председатель Совета Хинчук в своих воспоминаниях попытку посеять панику приписывает «храбрым» интеллигентным «вождям» из Комитета общ. организаций и полученным сведениям о наступлении Эверта с Зап. фронта, и противопоставляет растерянность «общественников» уверенности рабочих, опиравшихся на то, что «воинские части группами, полным составом» отдавали себя в распоряжение Совета. Старый большевик, Смидович сделал по этому поводу примечание: «Ничего подобного не было. Еще около недели в нашем распоряжении были только тысячи полторы сброда (большинство без винтовок) да пара пушек без снарядов, кажется, без замков».

Оберучев, вернувшийся из эмиграции в середине февраля «на родину». Во многих губерниях центра России (Ярославль, Тула и др.) движение началось 3-го. Жители Херсона даже 5 марта могли читать воззвание губернатора Червинского о народных беспорядках в Петербурге, прекращенных Родзянко в «пользу армии, Государя и отечества». На фронт весть о революции, естественно, пришла еще позже – во многих местах 5—6 марта; об отречении Императора на некоторых отдельных участках узнали лишь в середине месяца. Местечковый еврей, задавший в это время одному из мемуаристов (Квашко) вопрос: «а царя действительно больше нет, или это только выдумка», – вероятно, не был одинок. В захолустье сведения о происшедших событиях кое-где проникли лишь к концу месяца. Для иностранных читателей может быть убедительно свидетельство Керенского, что на всем протяжении Империи не нашлось ни одной части, которую фактически можно было двинуть против мятежной столицы, то же, конечно, говорит и Троцкий в своей «Истории революции». Но это малоубедительно для русского современника, знающего, что фронтовая масса и значительная часть провинции о событиях были осведомлены лишь после их завершения.

Чернов делает поправку (то же утверждение найдем мы и в воспоминаниях Гучкова): войсковую часть можно было отыскать на фронте, но посылка ее не достигла бы цели, ибо войска, приходившие в Петербург, переходили на сторону народа. Но это только предположение, весьма вероятное в создавшейся обстановке, но все-таки фактически неверное, вопреки установившейся версии, даже в отношении того немногочисленного отряда, который дошел до Царского Села во главе с ген. Ивановым к вечеру 1 марта<sup>10</sup>. Большевицкие историки желают доказать, что «демократия», из которой они себя выделяют, отступила на вторые позиции не из страха, возможности разгрома, революции, а в силу паники перед стихийной революционностью масс: в первые дни – вспоминает большевизанствующий с.-р. Мстиславский – «до гадливости» чувствовалось, как «верховники» из Исп. Ком. боялись толпы<sup>11</sup>. Бесспорно, страх перед неорганизованной стихией должен был охватывать людей, хоть сколько-нибудь ответственных за свои действия и не принадлежавших к лагерю безоговорочных «пораженцев», ибо неорганизованная стихия, безголовая революция, легко могла перейти в анархию, которая не только увеличила бы силу сопротивления режима, но и неизбежно породила бы контрреволюционное движение страны во имя сохранения государственности и во избежание разгрома на внешнем фронте.

Керенский, быть может, несколько преувеличивая свои личные ощущения первых дней революции, объективно прав, указывая, что никто не ожидал произошедшего хаоса, и у всех была только одна мысль, как спасти страну от быстро наступающей анархии. Элементарный здравый смысл заставлял демократию приветствовать решение Временного Комитета взять на себя ответственную роль в происходивших событиях и придать стихийному движению характер «революции», ибо история устанавливала и другой «социологический закон», в свое время в таких словах сформулированный не кем иным, как Лениным: «Для наступления революции недостаточно, чтобы “низы не хотели”, требуется, чтобы и “верхи не могли” жить по-старому», т.е. «революционное опьянение», как выразился Витте в воспоминаниях, должно охватить и командующий класс. Витте довольно цинично называл это «умственной чесоткой» и либеральным «ожирением» интеллигентной части общества, доказывая, что «революционное опьянение» вызывает отнюдь не «голод, холод, нищета», которыми сопровождается жизнь 100-миллионного непривилегированного русского народа. В одном старый бюрократ был прав: «главным

<sup>10</sup> Легенду эту породило неверное сообщение, полученное председателем Думы Родзянко и сообщенное им ген. Рузскому на Северном фронте.

<sup>11</sup> Для характеристики искренности мемуариста, которому 27-го «и пойти было некуда» (столь неожиданна для него была нарастающая февральская волна), можно привести такую выдержку из записи Гиппиус 1 марта: «По рассказам Бори (т.е. Андрея Белого), видевшего вчера и Масловского и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммуны» и бояться стихии и крайности».



диктатором» революции не является «голодный желудок» – этот традиционный предрассудок, как нежизненный постулат, пора давно отбросить. Голод порождает лишь бунт, которому действительно обычно уготован один конец: «самоистребление». Алданов справедливо заметил, что о «продовольственных затруднениях» в Петербурге, в качестве «причин революции», историку после 1920 года писать «будет неловко». Мотив этот выдвигался экономистами в начале революции (напр., доклад Громана в Исп. Ком. 16 марта); в позднейшей литературе, пожалуй, один только Чернов все еще поддерживает версию, что на улицу рабочих вывел «Царь-Голод», – впрочем, весьма относительный: сообщение градоначальника командующему войсками 23 февраля считало причиной беспорядков еще только слух, что будут отпускать 1 ф. хлеба взрослому и полфунта на малолетних.

Ленин, который все всегда знал заранее на девять десятых, утверждал после революции, еще в дни пребывания за границей, что буржуазия нужна была лишь для того, чтобы «революция победила в 8 дней»<sup>12</sup>.

Мемуаристы противоположного лагеря с той же убедительностью доказывают легкую возможность разгрома революции при наличии некоторых условий, которых в действительности по тем или другим причинам не оказалось. «Революция победила в 8 дней» потому, что страна как бы слилась в едином порыве и общности настроений, – столичный бунт превратился во «всенародное движение», показавшее, что старый порядок был уже для России политическим анахронизмом, и тогда (после завершения переворота) в стихийности революции начали усматривать гаранта незыблемой ее прочности (речь Гучкова 8 марта у промышленников).

В историческом аспекте можно признать, что современники в предреволюционные дни недооценивали сдвига, который произошел в стране за годы войны под воздействием оппозиционной критики Гос. Думы, привившей мысль, что национальной судьбе России при старом режиме грозит опасность, что старая власть, «безучастная к судьбе родины и погрязшая в позоре порока... бесповоротно отгородилась от интересов народа, на каждом шагу принося их в жертву безумным порывам произвола и самовластия» (из передовой статьи «Рус. Вед.» 7 марта). В политической близорукости, быть может, повинны все общественные группировки, но от признания этого факта нисколько не изменяется суть дела: февральские события в Петербурге, их размах, отклик на них и итог оказались решительно для всех неожиданными – «девятый вал», по признанию Мякотина (в первом публичном выступлении после революции), пришел тогда, «когда о нем думали меньше всего». Теоретически о грядущей революции всегда говорили много – и в левых, и в правых, и в промежуточных, либеральных кругах. Предреволюционные донесения агентуры Департамента полиции и записи современников полны таких предвидений и пророчеств – некоторым из них нельзя отказать в прозорливости, настолько они совпали с тем, что фактически произошло. В действительности же подобные предвидения не выходили за пределы абстрактных расчетов и субъективных ощущений того, что Россия должна стоять «на пороге великих событий». Это одинаково касается как предсказаний в 16 году некоего писца Александро-Невской лавры, зарегистрированных в показаниях филеров, которые опекали Распутина, так и предвидений политиков и социологов. Если циммервальдец Суханов был убежден, что «мировая социальная революция не может не увенчать собой мировой империалистической войны», то его прогнозы в сущности лежали в той же плоскости, что и размышления в часы бессонницы в августе 14 года вел. кн. Ник. Мих., записавшего в дневник: «К чему затеяли эту убийственную войну, каковы будут ее конечные результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах произойдут громадные перевороты, мне мнится конец многих

<sup>12</sup> Слова Ленина на апрельской конференции 17 г. У Ленина издалека составилось весьма своеобразное представление о ходе революции, оно совершенно не соответствовало истинному положению дел. Он писал в своих «Письмах издалека», напечатанных в «Правде»: «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций: «актеры» знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических настроений и приемов действия».

монархий и триумф всемирного социализма, который должен взять верх, ибо всегда высказывался против войны». Писательница Гиппиус занесла в дневник 3 октября 16 года: «Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и не ужасно ли? – никто не знает об этом». (Предусмотрительность часто появляется в опубликованных дневниках *post factum*.) Во всяком случае, не думали, потому что вопрос этот в конкретной постановке в сознании огромного большинства современников не был актуален, – и близость революции исчислялась не днями и даже не месяцами, а может быть, «годами». Говорили о «революции» после войны – (Шкловский). Даже всевидящий Ленин, считавший, что «всемирная империалистическая война» является «всесветным режиссером, который может ускорить революцию» («Письма издалека»), за два месяца до революции в одном из своих докладов в Цюрихе сделал обмолвку: «Мы, старики, быть может, до грядущей революции не доживем». По наблюдениям французского журналиста Анэ, каждый русский предсказывал революцию на следующий год, в сущности не веря своим предсказаниям. Эти общественные толки, поднимавшиеся до аристократических и придворных кругов, надо отнести в область простой разговорной словесности, конечно, показательной для общественных настроений и создавшей психологию ожидания чего-то фатально неизбежного через какой-то неопределенный промежуток времени.

Ожидание нового катаклизма являлось доминирующим настроением в самых различных общественных кругах – и «левых» и «правых», после завершения «великой русской революции», как «сгоряча» окрестили 1905 год. Россию ждет «революция бесповоротная и ужасная» – положение это красной нитью проходит через перлюстрированную Департаментом полиции частную переписку (мы имеем опубликованный отчет, напр., за 1908 г.). Человек весьма консервативных политических убеждений, харьковский проф. Вязигин писал: «Самые черные дни у нас еще впереди, а мы быстрыми шагами несемся к пропасти». Ему вторит политик умеренных взглядов, член Гос. Сов. Шипов: «родина приближается к пропасти»... «предстоящая неизбежная революция легко может вылиться в форму пугачевщины». И все-таки Шипов, путем размышления, готов признать, что «теперь чем хуже, тем лучше», ибо «чем скорее грянет этот гром, тем менее он будет страшен и опасен». И более левый Петрункевич хоть и признает, что наступила «полная агония» правительственной власти, что «теперь борьба демократизировалась в самом дурном смысле», что «выступили на арену борьбы необузданные и дикие силы», однако все это, по его мнению, свидетельствует, что «мы живем не на кладбище». «Будущее в наших руках, если не впадет в прострацию само общество», – успокаивает редактор «Рус. Вед.» Соболевский сомневающегося своего товарища по работе проф. Анучина и т.д. И очень часто в переписке государственных деятелей, ученых и простых обывателей, с которой ознакомились перлюстраторы, звучит мотив: «вряд ли без внешнего толчка что-нибудь будет». В кругах той либерально-консервативной интеллигенции, которая под водительством думского прогрессивного блока претендовала на преемственность власти при новых парламентских комбинациях, ожидание революции, вышедшей из недр народной толщи и рисовавшейся своим радикальным разрешением накопившихся социальных противоречий какой-то новой «пугачевщиной», «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», по выражению еще Пушкина, носило еще менее реалистические формы. Революционный жупел, поскольку он выявлялся с кафедры Гос. Думы, здесь был приемом своего рода педагогического воздействия на верховную власть в целях принудить ее капитулировать перед общественными требованиями. В действительности мало кто верил, что то, «чего все опасаются», может случиться, и в интимных разговорах, отмечаемых агентами Департамента полиции (и не только ими), ожидаемая революция заменялась «почти бескровным» дворцовым переворотом – до него в представлении оппозиционных думских политиков оставалось «всего лишь несколько месяцев», даже, может быть, несколько недель.

## 2. Неожиданность революции

«Революция застала врасплох только в смысле момента», – утверждает Троцкий. Но в этом и была сущность реального положения, предшествовавшего 27 февраля. Несомненный факт, устанавливаемый Сухановым, что ни одна партия непосредственно не готовилась к перевороту. Будущий левый с.-р. Мстиславский выразился еще резче: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими». Большевики не представляли собой исключения – накануне революции, по образному выражению Покровского, они были «в десяти верстах от вооруженного восстания». Правда, накануне созыва Думы они звали рабочую массу на улицу, на Невский, противопоставляя свою демонстрацию в годовщину для суда над с.-д. депутатами 10 февраля проекту оборонческих групп «хождения к Думе» 14 февраля, но фактически это революционное действие не выходит из сферы обычной пропаганды стачек.

Нельзя обманываться лозунгами: «Долой царскую монархию» и «Да здравствует Временное Революционное Правительство» и т.д. – то были лишь традиционные присказки всякой прокламации, вышедшей из революционного подполья. Рабочие не вышли на улицу. Быть может, свою роль сыграла агитация думских кругов, выступавших с предупреждением о провокационном характере призывов<sup>13</sup>, но еще в большей степени полная раздробленность и политическое расхождение революционных штабов. Характерно, что близкие большевикам так называемые «междурайонцы» в особом листке, выпущенном 14 февраля, «признавали нецелесообразным общее революционное выступление пролетариата в момент не изжитого тяжелого внутреннего кризиса социалистических партий и в момент, когда не было основания рассчитывать «на активную поддержку армии». «Обычное», конечно, шло своим чередом, ибо революционные штабы готовили массы к «грядущему выступлению». И тот же петербургский междурайонный комитет с.-дем. в международный день работниц 23 февраля (женское «первое мая») выпускает листовку с призывом протестовать против войны и правительства, которое «начало войну и не может ее окончить». Трудно поэтому уличное выступление 23 февраля, которое вливалось в нарастающую волну стачек, имевших всегда не только экономический, но и политический оттенок, назвать «самочинным». Военные представители иностранных миссий в телеграмме в Ставку движение, начавшееся 23-го, с самого начала определили как манифестацию, экономическую по виду и революционную по существу (Легра). Самочинность его заключалась лишь в том, что оно возникло без обсуждения «предварительного плана», как утверждали донесения Охранного отд. 26 февраля. Дело касается партийных комитетов, которые были далеки от мысли, что «женский день» может оказаться началом революции, и не видели в данный момент «цели и повода» для забастовок (свидетельство рабочего Ветрова, состоявшего членом Выборгского районного комитета большевистской партии).

Уличная демонстрация, если не вызванная, то сплетавшаяся с обострившимся правительственным кризисом, была тем не менее поддержана революционными организациями (на совещании большевиков с меньшевиками и эсерами) – правда, «скрепя сердце», как свидетельствует Каюров, причем в «тот момент никто не предполагал, во что оно (это движение) выльется». В смысле этой поддержки и надо понимать позднейшие (25—26 февр.) донесения агентов Охранного отд., отмечавшие, что «революционные круги стали реагировать на вторые сутки» и что «наметился и руководящий центр, откуда получались директивы». В этих донесениях агентура явно старалась преувеличивать значение подпольного замаскированного центра. (Преувеличенные донесения и послужили поводом для ареста руководителей «рабочей группы» при Цен. Воен. Пр. Ком., осложнившего и обострившего положение.) Если о Совете

<sup>13</sup> См. мои книги «На путях к дворцовому перевороту» и «Золотой немецкий ключ к большевистской революции».

Раб. Деп., который должен «начать действия к вечеру 27-го», говорили, напр., на рабочем совещании 25-го, созванном по инициативе Союза рабочих потребительских обществ и по соглашению с соц.-дем. фракцией Гос. Думы, если на отдельных заводах происходили уже даже выборы делегатов, как о том гласила больше, правда, городская молва, то этот вопрос стоял в связи с продовольственным планом, который одновременно обсуждался на совещании в Городской Думе, а не с задуманным политическим переворотом, в котором Совет должен был играть роль какого-то «рабочего парламента». Реальный совет Р. Д. возник 27-го «самочинно», как и все в эти дни, вне связи с только что отмеченными разговорами и предположениями – инициаторами его явились освобожденные толпой из предварительного заключения лидеры «рабочей группы», взявшие полученную по наследству от 1905 года традиционную форму объединения рабочих организаций, которая сохранила престиж в рабочей среде и силу действенного лозунга пропаганды социал-демократии. Поэтому приходится сделать очень большую оговорку к утверждению Милюкова-историка, что «социалистические партии решили немедленно возродить Совет рабочих депутатов».

Как ни расценивать роль революционных партийных организаций в стихийно нараставших событиях в связи с расширявшейся забастовкой, массовыми уличными выступлениями и обнаруживавшимся настроением запасных воинских частей<sup>14</sup>, все же остается несомненным, что до первого официального дня революции «никто не думал о такой близкой, возможной революции» (воспоминания раб. больш. Каюрова). «То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции, – вспоминает Суханов. – Казалось, что движение, возникшее в этот день, мало чем отличалось от движения в предыдущие месяцы. Такие беспорядки проходили перед глазами современников многие десятки раз». Мало того, в момент, когда обнаружилось колебание в войсках, когда агенты охраны докладывали, что масса «после двух дней беспрепятственного хождения по улицам уверилась в мысли, что «началась революция» и «власть бессильна подавить движение», что, если войска перейдут «на сторону пролетариата, тогда ничто не спасет от революционного переворота», – тогда именно под влиянием кровавых уличных эпизодов, имевших место 26-го, в большевистском подполье был поднят вопрос о прекращении забастовок и демонстраций. В свою очередь, Керенский в книге «Experiences» вспоминает, что вечером 26-го у него собралось «информационное бюро» социалистических партий – это отнюдь не был центр действия, а лишь обмен мнениями «за чашкой чая». Представитель большевиков Юренев категорически заявил, что нет и не будет никакой революции, что движение в войсках сходит на нет, и надо готовиться на долгий период реакции... Слова Юренева (их приводил раньше Станкевич в воспоминаниях) были сказаны в ответ на указание хозяина квартиры, что необходимо приготовиться к важным событиям, так как мы вступили в революцию. Были ли такие предчувствия у Керенского? В другой своей книге, изданной в том же 36-м году, он по-иному определял положение: даже 26 февраля, пишет он в «La Verite», никто не ждал революции и не думал о республике. Соратник Керенского по партии, участник того же инф. бюро, Зензинов в воспоминаниях, набросанных еще в первые дни революции («Дело Народа» 15 марта), подтверждал второе, а не первое заключение Керенского: он писал, что «революция ударила, как гром с неба, и застала врасплох не только правительство, но и Думу и существующие общественные организации. Она явилась

<sup>14</sup> Солдаты запасных частей, взятые от сохи или станка, преимущественно ратники второго разряда, «запертые в казармах... плохо содержимые, скучающие и озлобленные», как характеризует их быт ген. Мартынов, представляли «чрезвычайно благоприятную почву для всякой антиправительственной пропаганды». Они должны были содействовать «успеху революции». Агент Охр. Отд. Крестьянинов доносит начальству о «контакте», существующем между рабочими и солдатами, у которых все «давно организовано» (правда, это были только случайно подслушанные трамвайные разговоры). Скопление в городах этих запасных было чрезвычайное – так, в Петербурге численность гарнизона доходила до 160 тыс. чел. (явление, обычное и для других городов, – напр., в Омске гарнизон состоял из 70 тыс. при 50 тыс. взрослого населения). «Непростительная ошибка», – скажет английский посол в своих воспоминаниях. Но, конечно, к числу легенд следует отнести утверждение, что это сознательно было проведено теми, кто готовил «дворцовый переворот» (больш. историк Покровский).

великой и радостной неожиданностью и для нас революционеров». Упомянув об информационных собраниях тех дней, на которых присутствовали представители всех существовавших в Петербурге революционных течений и организаций, он говорил, что события рассматривались как нечто «обычное» – «никто не предчувствовал в этом движении веяния грядущей революции». Не показательно ли, что в упомянутой прокламации, изданной Междурайонным Комитетом 27 февраля, рабочая масса призывалась к организации «всеобщей политической стачки протеста» против «бессмысленного», «чудовищного» преступления, совершившегося накануне, когда «Царь свинцом накормил поднявшихся на борьбу голодных людей» и когда в «бессильной злобе сжимались наши кулаки», – здесь не было призыва к вооруженному восстанию. Также, очевидно, надо понимать и заявление представителя рабочих, большевика Самодурова, в заседании Городской Думы 25 февраля требовавшего не «заплат», а совершенного уничтожения режима.

### 3. Спор о власти

Обстановка первых двух дней революции (она будет обрисована в последующих главах), обнаруживавшая несомненную организационную слабость центров<sup>15</sup>, которые вынуждены были пасовать перед стихией, отнюдь не могла еще внушить демократии непоколебимую уверенность в то, что «разгром был немислим». Пешехонов вспоминал, что «на другой день после революции», при повышенном и ликующем настроении «не только отдельных людей, но и большие группы вдруг охватывал пароксизм сомнений, тревоги и страха». О «страшном конце» говорил временами и Керенский, как свидетельствует Суханов; пессимизм Скобелева отмечает Милюков, проводивший с ним на одном столе первую ночь в Таврическом дворце, о своей панике рассказывает сам Станкевич; Чхеидзе был в настроении, что «все пропало» и спасти может только «чудо!» – утверждает Шульгин. О том, что Чхеидзе был «страшно напуган» солдатским восстанием, засвидетельствовал и Милюков. Завадский рассказывает о сомнениях в благополучном исходе революции, возникших у Горького, когда ему пришлось наблюдать «панику» в Таврическом дворце 28-го, но еще большая неуверенность у него была в победе революции за пределами Петербурга. Противоречия эти были жизненны и неизбежны.

О том необычайном «парадоксе февральской революции», который открыл Троцкий и который заключался в том, что демократия, после переворота обладавшая всей властью (ей вручена была эта власть «победоносной массой народа»), «сознательно отказалась от власти и превратила 1 марта в легенду о призывании варягов в действительность XX века», приходится говорить с очень большими оговорками. В сущности, этого парадокса не было, и поэтому естественно, что на совещании Исп. Ком., о котором идет речь, никто, по воспоминанию Суханова, не заикался даже о советском демократическом правительстве. Большевики в своей среде решали этот вопрос, как утверждает Шляпников, но вовне не вступали в борьбу за свои принципы – только слегка «поговаривали», по выражению Суханова<sup>16</sup>. Споры возникли около предположения, высказанного «правой частью» совещания, о необходимости коалиционного правительства. Идея была выдвинута представителем «Бунда». Очевидно, большой настойчивости

<sup>15</sup> «Центральный большевистский штаб... поражает беспомощностью и отсутствием инициативы», – констатирует Троцкий.

<sup>16</sup> В «Истории» Милюкова имеется явное недоразумение, когда воззванию Исп. Ком. 28-го, призывавшему население объединиться около Совета, приписывается мысль создания самостоятельной советской власти. Такая мысль была высказана в № 2 московских «Известий» (3 марта) – официальном органе местного Совета, редактируемом большевиком Степановым-Скворцовым. В статье московский Совет призывался к созданию временного революционного правительства – не для того проливалась на улицах кровь, чтобы заменить царское правительство правительством Милюкова—Родзянко для захвата Константинополя и т.д. Статья прозвучала одиноко и никаких последствий не имела. Большевистские историки должны признать, что подобные лозунги в те дни «успеха не имели» и остались «висеть в воздухе».



не проявляли и защитники коалиции, тем более что самые видные и авторитетные ее сторонники (меньшевик Богданов и нар. соц. Пешехонов) в заседании не присутствовали<sup>17</sup>.

Совершенно ясно, что 1-го вообще никаких окончательных решений не было принято, несмотря на произведенное голосование. Это была как бы предварительная дискуссия, намечавшая лишь некоторые пункты для переговоров с Вр. Ком. Гос. Думы и выяснявшая условия, при которых демократия могла бы поддержать власть, долженствовавшую создаться в результате революционной вспышки. Стеклов, как рассказывает Суханов, записывал пункты по мере развивавшихся прений. Они были впоследствии на Совещании Советов оглашены докладчиком по сохранившемуся черновику, который передан был затем в «Музей истории». Эти 9 пунктов, записанных на клочке плохой писчей бумаги, были сформулированы так: «1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям. 2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнотружущих. 3. Воздержание от всех действий, предпрещающих форму будущего правления. 4. Принятие немедленных мер к созыву Учредительного собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 7. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 8. Неразоружение и невыход из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 9. Самоуправление армий». В этих пунктах не было намека на социально-экономические вопросы, которые должны встать перед Временным правительством с первого дня его существования: в них не было самого существенного в данный момент — отношения к войне.

Большинство Исп. Ком., по мнению Суханова, принадлежало к циммервальдскому объединению, но, поясняет мемуарист, надо было временно снять с очереди лозунги против войны, если рассчитывать на присоединение буржуазии к революции. Свернуть «циммервальдское знамя» приходилось, однако, и для того, чтобы договориться в собственной «советской среде». Совет с циммервальдскими лозунгами в то время не был бы поддержан солдатской массой, представители которой составляли большинство пленума. Равным образом те же тактические соображения побуждали не выдвигать и социально-экономические лозунги. Как пояснял вышедший через несколько дней меньшевистский орган — «Рабочая Газета», для рабочего класса «сейчас непосредственно социальные вопросы не стоят на первом плане», надо напрячь «все силы, чтобы создать свободную и демократическую Россию», т.е. добыть «политическую свободу» — единственное «средство, при помощи которого можно бороться за социализм». Вспоминая «урок» 1905 года, «Рабочая Газета» указывала на невозможность для пролетариата вести борьбу на «два фронта» — с «реакцией» и «капиталистами». Следовательно, не столько книжная мудрость, заимствованная из «учебников», не столько догматика, определяющая мартовские события, как «буржуазную революцию в классическом смысле слова», и развитая в последующем идеологическом осмысливании событий, сколько ощущение реальной действительности определяло позиции и тактику «верховников» из среды Исп. Ком. в смутные дни, когда, говоря словами того же доклада Стеклова, «нельзя было с уверенностью сказать, что переворот завершен и что старый режим действительно уничтожен».

Житейская логика требовала следующего шага — непосредственного участия представителей социалистической демократии в той власти, которая пока существовала еще только в «потенции»: во время войны и продовольственной разрухи приходится выбирать между пра-

<sup>17</sup> Пешехонов, которого «влекло туда, в народ, в его гушу» и который испытывал почти отвращение («становилось тошно») от мысли, что ему придется работать в «литературной комиссии», куда он, наряду со Стекловым, Сухановым и Соколовым, был избран накануне, предпочел, к сожалению, отойти от центра и взять на себя комиссарство на Петербургской стороне.

вительством буржуазии и правительством из своей среды, как выразился один из делегатов на Совещании Советов, не считаясь с «резолуциями конгресса международного социализма». Этого шага в полной мере не было сделано. Был создан чреватый своими последствиями убогодный компромисс, который никак нельзя рассматривать, как нечто, последовательно вытекавшее из априорно установленных в те дни постулатов. Бундовец Рафес, один из тех, кто отстаивал в дневном совещании Исп. Ком. принцип коалиционной власти, совершенно определенно свидетельствует в воспоминаниях, что в ночном заседании организационного Комитета партии с.-д. вопреки мнению Батуринского, представлявшего линию Исп. Ком., принято было решение об участии членов партии в образовании правительства. Отсюда вывод, что партия не считала для себя обязательным случайное голосование происходившего днем советского совещания. Столь же знаменательно было появление на другой день в официальных советских «Известиях» статьи меньшевика Богданова, отстаивавшего участие демократии в образовании правительства и мотивировавшего необходимость такого участия тем соображением, что думское крыло революции не только склоняется к конституционной монархии, но и готово сохранить престол за прежним носителем верховной власти.

В бурные моменты самочинное действие играет нередко роль решающего фактора. Такое своевольное действие от имени разнородного спектра социалистической общественности и совершила группа деятелей Исп. Ком., в сущности организационно никого не представлявшая и персонально даже довольно случайно кооптированная в руководящий орган советской демократии. Их политическая позиция была неопределенна и неясна. В конце концов фактически неважно – был ли лично инициатором начала переговоров с думцами заносчивый и сомнительный Гиммер (Суханов), разыгрывавший роль какого-то «советского Макиавелли», или другая случайность (приглашение во Врем. Ком. для обсуждения вопроса об организации власти) превратила Суханова и его коллег Стеклова и Соколова в единственных представителей революционной демократии в ночь на 2-е марта при обсуждении кардинального вопроса революции. Интересен факт, что формальной советской делегации не было и что лица, действительно самочинно составившие эту делегацию, никем не были уполномочены, на свой риск вели переговоры и выдвигали программу, никем в сущности не утвержденную.

## II. В рядах цензовой общественности

### 1. Легенда о Государственной Думе

Каково же было умонастроение в том крыле Таврического дворца, где заседали представители «единственно организованной цензовой общественности», для переговоров с которыми направились делегаты Совета? В представлении Суханова они шли для того, чтобы убедить «цензовиков» взять власть в свои руки. Убеждать надо было, в сущности, Милюкова, который в изображении мемуариста безраздельно царил в «цензовой общественности». Но Милюкова, конечно, убеждать не приходилось с момента, как Врем. Комитет высказался «в полном сознании ответственности» за то, чтобы «взять в свои руки власть, выпавшую из рук правительства», – уступать кому-либо дававшуюся в руки власть лидер прогрессивного блока отнюдь не собирался. Для него никаких сомнений, отмеченных в предшествующей главе, не было. Довольно меткую характеристику Милюкова дал в своих воспоминаниях принадлежавший к фракции к. д. кн. Мансырев. Вот его отзыв: «Человек книги, а не жизни, мыслящий по определенным заранее схемам, исходящий из надуманных предпосылок, лишенный темперамента чувств, неспособный к непосредственным переживаниям. Революция произошла не так, как ее ожидали в кругах прогрессивного блока. И тем не менее лидер блока твердо и неуклонно держался в первые дни революции за схему, ранее установленную и связанную с подготовлявшимся дворцовым переворотом, когда кружок лиц, заранее, по его собственным словам, обсудил меры, которые должны быть приняты после переворота. Перед этим “кружком лиц” лежала старая программа прогрессивного блока, ее и надлежало осуществить в налетевшем вихре революционной бури, значительность которой не учитывалась в цензовой общественности так же, как и среди демократии».

Большинство мемуаристов согласны с такой оценкой позиции «верховников» из думского комитета, а один из них, депутат Маклаков, даже через 10 лет после революции продолжал утверждать, что в мартовские дни программа блока требовала всего только некоторой «ретуши», ибо революция «nullement» не была направлена против режима (?!). В представлении известного публициста Ландау дело было еще проще – революции вообще не было в 17 году, а произошло просто «автоматическое падение сгнившего правительства». Подобная концепция вытекала из представления, что революция 17 года произошла во имя Думы и что Дума возглавила революцию. Маклаков так и говорит, вопреки самоочевидным фактам, что революция началась через 2 часа (!) после роспуска Думы, правда, делая оговорку, что революция произошла «во имя Думы», но «не силами Думы»! Милюков в первом варианте своей истории революции также писал, что сигнал к началу революции дало правительство, распустив Думу. Миф этот возник в первые же дни с того самого момента, как Бубликов, занявший 28-го временно должность комиссара по министерству сообщения, разослал от имени председателя Гос. Думы Родзянко приказ, гласивший: «Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти», – и усиленно поддерживался на протяжении всей революции в рядах «цензовой общественности». Он подправлял действительность, выдвигая Гос. Думу по тактическим соображениям на первый план в роли действенного фактора революции. Еще в августовском Государственном Совещании, возражая ораторам, говорившим, что «революцию сделала Гос. Дума в согласии со всей страной», Плеханов сказал: «Тут есть доля истины, но есть и много заблуждения»<sup>18</sup>. С течением времени от такого «заблуждения» отказался главный творец лите-

---

<sup>18</sup> Плеханов имел в виду Милюкова и Родзянко. Оппонируя Церетели, Милюков говорил: «Неверно, что своей победой революция обязана неорганизованной стихии. Она обязана этой победой Гос. Думе, объединившей весь народ и давшей санк-

ратурного мифа Милюков, некогда озаглавивший первую главу истории революции – «Четвертая Гос. Дума низлагает монархию», но потом в связи с изменениями, которые произошли в его политических взглядах, признавший, что Гос. Дума не была способна возглавить революцию, что прогрессивный блок был прогрессивен только по отношению ко Двору и ставленникам Распутина<sup>19</sup>, что революционный взрыв не имел никакого отношения к роспуску Думы, о котором масса ничего не знала («Россия на переломе»), что Дума, блок и его компромиссная программа были начисто сметены первым же днем революции («Сов. Зап.»).

## 2. Впечатления первого дня

Отвергнутая легенда передает, однако, более точно идеологические концепции, во власти которых находились руководители «цензовой общественности» в момент переговоров с советскими делегатами. В думских кругах, для которых роспуск Думы был как бы *coup de foudre*, по выражению Керенского, еще меньше, чем в социалистическом секторе, предполагали, что февральские дни знаменуют революционную бурю. Была попытка с самого начала дискредитировать движение. Гиппиус записала 23 февраля: «Опять кадетская версия о провокации... что нарочно... спрятали хлеб... чтобы “голодные бунты” оправдали желанный правительству сепаратный мир. Вот глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать»<sup>20</sup>. «События 26—27 февраля, – показывал Милюков в Чр. Сл. Ком., – застали нас врасплох, потому что они не выходили из тех кругов, которые предполагали возможность того или другого переворота, но они шли из каких-то других источников или они были стихийны. Возможно, что как раз Протопоповская попытка расстрела тут и сыграла роль в предыдущие дни... Было совершенно ясно, что инсценировалось что-то искусственное...» «Руководящая рука неясна была, – добавлял Милюков в «Истории», – только она исходила, очевидно, не от организованных левых политических партий».

«Полная хаотичность начала движения» не могла подвинуть руководителей думского прогрессивного блока на героический шаг. Когда днем 27-го члены Думы собрались в Таврическом дворце на частное совещание, никакого боевого настроения в них не замечалось. Сколько их было? «Вся Дума» была налицо в представлении Шульгина, собралось 200 членов – исчисляет Мансырев, литовский депутат Ичас доводит эту цифру до 300. То, что происходило в Думе 27-го, остается до сих пор неясным и противоречивым в деталях, даже в том, что касается самого частного совещания, – каждый мемуарист рассказывает по-своему. Не будем на этом останавливаться. Создалась легенда, широко распространившаяся 27-го в Петербурге, о том, что Дума постановила не расходиться, как учреждение, и что Дума совершила революционный акт, отказавшись подчиниться указу о роспуске. Так на периферии воспринял Горький, так воспринял молву и Пешехонов. В «Известиях» думского Комитета журналистов это «решение» было сформулировано так: «Совет старейшин, собравшись на экстренном заседании и ознакомившись с указом о роспуске, постановил: Гос. Думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на месте». Милюков говорит, что беспартийный казак Караулов требовал открытия формального заседания Думы (по словам Керенского, этого требовала вся оппозиция в лице его, Чхеидзе, Ефремова (прог.) и «левого» к. д. Некрасова), но совет старейшин на этот революционный путь не хотел вступать. В статье, посвященной десятилетию революции, Милюков

---

ции перевороту». Родзянко указывал, что «страна примкнула к Гос. Думе, возглавившей... движение и тем самым принявшей на себя и ответственность за исход государственного переворота».

<sup>19</sup> «Ведь это была Дума 3 июня, – писал, напр., Милюков в день десятилетия революции, – Дума с искусственно подобранным правым крылом, а в своем большинстве “прогрессивного блока” лояльная Дума, “оппозиция Его Величеству” – явно для возглавления революции она не годилась».

<sup>20</sup> Сама Гиппиус полагала: «Боюсь, что дело гораздо проще. Так как... никакой картины организованного выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик. Без достоинства бунтовали – без достоинства покоримся».

утверждал, что было заранее условлено (очевидно, при теоретическом рассуждении о возможном роспуске) никаких демонстраций не делать. И потому решено было считать Гос. Думу «не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться». Члены Думы немедленно собрались на «частное совещание», и, чтобы подчеркнуть, что это «частное совещание»<sup>21</sup>, собрались не в большом Белом зале, а в соседнем полуциркульном за председательской трибуной<sup>22</sup>. О «частном совещании», помимо довольно противоречивых свидетельств мемуаристов, мы имеем «почти стенографическую запись», опубликованную в 21 году в эмигрантской газете «Воля России». Кем составлена была запись, очень далекая от «почти стенографического» отчета, хотя и излагавшая происходившее по минутам, неизвестно, и все-таки она, очевидно, составленная в то время, более надежна, чем слишком субъективные позднейшие восприятия мемуаристов. Заседание открыто было в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа дня Родзянко, указавшего на серьезность положения и вместе с тем признававшего, что Думе «нельзя еще высказаться определенно, так как мы еще не знаем соотношения сил». Выступавший затем Некрасов – тот самый, который только что перед этим в Совете старейшин, по воспоминаниям Керенского, будто бы от имени оппозиции среди других требовал, чтобы Дума совершила революционное действие, игнорируя приказ о роспуске, – предлагал передать власть пользующемуся доверием человеку: ген. Маниковскому с «несколькими представителями Гос. Думы»<sup>23</sup>. Проект Некрасова о приглашении генерала из состава правительства и передачи власти в «старые руки» вызвал довольно единодушную критику. По отчету «Воли России» возражали прогрессист Ржевский и с. д. Чхеидзе, по воспоминаниям Мансырева – Караулов, по воспоминаниям Ичасы – к. д. Аджемов, находивший «среднее решение», предложенное Некрасовым, «безумием». Большинство считало, что Дума сама должна избрать орган, которому надлежало вручить полномочия для сношения с армией и народом (Ржевский). Социалистический сектор отстаивал положение, что иного выхода, как создание новой власти, нет – трудовик Дзюбинский предлагал временную власть вручить сеньорен-конвенту Думы и последнюю объявить «Учредительным Собранием» (по отчету «Воли России» Мансырев тогда поддерживал Дзюбинского). Скептически высказывался Шингарев: «неизвестно, признает ли народ новую власть». Когда дело дошло до Милюкова, то он отверг все сделанные предложения – не желал он признать и Комитет из 10 лиц, который мог бы «диктаторствовать над всеми», признавал он «неудобным» предложение Некрасова и невозможность создания новой власти, так как для этого «еще не настал момент». Сам Милюков не помнил уже, что 27-го он предлагал. В «почти стенографической» записи милюковская речь запротоколирована в таких выражениях: «Лично я не предлагаю ничего конкретного. Что же нам остается делать? Поехать, как предлагает Керенский, и успокоить войска, но вряд ли это их успокоит, надо искать что-нибудь реальное» (дело в том, что в это время Керенский – как гласит запись – обратился к Собранию с предложением уполномочить его вместе с Чхеидзе поехать на автомобиле ко всем восставшим частям, чтобы объяснить им о поддержке и солидарности Гос. Думы).

Через десять лет свои колебания Милюков объяснил сознанием, что тогдашняя Дума не годилась для возглавления революции. Мемуаристы осторожность лидера объясняли неуверенностью в прочности народного движения (Шульгин). По утверждению Скобелева, Милюков заявил, что не может формулировать свое отношение, так как не знает, кто руководит собы-

<sup>21</sup> Частное совещание было намечено заранее и ни в какой связи, вопреки утверждений Шульгина, Керенского и др., с указом о роспуске, полученным Родзянко накануне под вечер, не стояло.

<sup>22</sup> Насколько легенда прочно укоренилась в сознании современников, видно из телеграфного ответа редакции «Рус. Вед.» на запрос лондонской газеты «Daily Chronicle», который гласил, что Дума отказалась подчиниться указу о роспуске.

<sup>23</sup> В воспоминаниях Шидловского предложение Некрасова охарактеризовано словами «военная диктатура», по Мансыреву, это было предложение президиуму Думы ехать немедленно к председателю Совета Министров и просить о наделении Маниковского или Поливанова (эти кандидатуры были выдвинуты по отчету «Воля России» октябристом Савичем) «диктаторскими полномочиями для подавления бунта».



тиями<sup>24</sup>. В изображении Ичас Миллюков заключил речь словами: «Характер движения еще настолько неясен, что нужно подождать по крайней мере до вечера, чтобы вынести определенное решение». «Тут мы, более экспансивные депутаты, выразили бурное несогласие с нашим лидером», причем Аджемов особенно настаивал, что «нельзя откладывать решение до выяснения соотношения сил» («Воля Рос.»). По стенографическому отчету Родзянко обратился тогда к собранию с просьбой «поторопиться с принятием решения, ибо промедление смерти подобно». Большинством было принято решение об образовании «Особого Комитета». «Долго еще спорили», – вспоминает Ичас, как его выбрать. Наконец, когда затянувшиеся длинные речи всех утомили (левые депутаты Керенский, Скобелев, Янушкевич, Чхеидзе постоянно выходили к толпе и возвращались на совещание, убеждая скорее приступить к действию), решили передать избрание комитета сеньорен-конвенту, который должен был немедленно доложить Совещанию его состав. После получасового разговора Родзянко сообщил результаты. «У меня и моих товарищей, – вновь вспоминает Ичас, – было такое чувство, словно мы избрали членов рыболовной или тому подобной думской комиссии. Никакого энтузиазма ни у кого не было. У меня вырвалась фраза: “Да здравствует Комитет Спасения!” В ответ на это несколько десятков членов Совещания стали аплодировать». «Временный Комитет<sup>25</sup> удалился на совещание (это было около 5 часов), а мы около 300 членов Думы бродили по унылым залам Таврического дворца. Посторонней публики еще не было. Тут ко мне подошел с сияющим лицом член Думы Гронский: “Знаешь новость? Сегодня в 9 час. веч. приедет в Таврический дворец вел. кн. Мих. Ал. и будет провозглашен императором”. Это известие стало довольно открыто курсировать по Екатерининскому залу».

Ичас был несколько удивлен длинным названием Временного Комитета – «Комитет членов Гос. Думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями», к. д. Герасимов объяснил: «Это важно с точки зрения уголовного уложения, если бы революция не удалась бы». Скорее это было шуточное замечание, совершенно, конечно, прав Бубликов, утверждавший в воспоминаниях, что в этот момент Дума (или ее суррогат) не поддержала революции. Выжидательная позиция большинства оставалась – победила по существу осторожная линия лидера, несмотря на «бурное» несогласие с ним многих его соратников, доказывавших, что невозможно ожидать «точных сведений». Решение было принято при общем «недоумении и растерянности» (Мансырев), в начинавшемся хаосе, под угрозой наступления «тридцатитысячной» толпы, которую подсчитал Шульгин и которая требовала, чтобы Дума взяла власть в свои руки, под крики и бряцание оружия вошедшей в Таврический дворец солдатской толпы, прорвавшей обычный думский караул, причем начальник караула был ранен выстрелом из толпы. (В изображении Мансырева, не совпадающем с впечатлениями Ичас, беспорядочные разговоры о думском комитете закончились при опустевшем уже зале.) Впечатление явно преувеличенное. Гипноз мифической «тридцатитысячной толпы» сказался и в последующих исторических интерпретациях, когда, напр., Чернов повествует, как «чуть ли не десятки тысяч со всех сторон» устремились в Гос. Думу, узнав о разгоне Думы и ее отказе подчиниться. Это было довольно далеко от того, что было в первый день революции, когда разношерстная уличная толпа с преобладанием отбившихся от казарм солдатских групп и групп студенческой и рабочей молодежи стала постепенно проникать и заполнять думское помещение. На первый день переносится впечатление от последующих дней, когда Таврический дворец сделался с двумя своими оппозиционными крылами – Временным и Испол. Комитетами – действительно территориальным и идеологическим центром революции и в то же время при-

<sup>24</sup> По словам того же мемуариста, Шингарев был в негодовании: «Подобные вещи могут делать лишь немцы, наши враги».

<sup>25</sup> Бюро прогрессивного блока было пополнено депутатами левого сектора и вышедшими ранее из блока «прогрессистами». В Комитет вошли Родзянко, Миллюков, Некрасов, Дмитриюков, Шидловский, Шульгин, Львов Вл., Караулов, Ржевский, Коновалов, Керенский и Чхеидзе.

бежищем для всех отпавших от частей одиночек солдат, которых воззвание Совета 27-го звало в Думу.

Что привело солдат в дневные часы 27-го к Государственной Думе? «Я буду очень озадачен, – писал впоследствии один из современников, проф. Завадский, – если мне докажут, что выход “волынцев... был обусловлен расправой правительства с Гос. Думой”». Насколько прав Завадский, свидетельствуют воспоминания фельдфебеля Кирпичникова, которому приписывается инициатива призыва не идти против народа и вывода солдат Волынского полка на улицу утром 27-го<sup>26</sup> – в них Гос. Дума даже не упомянута. Таврический дворец стал базой не в силу притяжения Думы, а в силу своего расположения в «военном городе», где размещены были казармы тех гвардейских частей, в которых началось движение, – утверждает Мстиславский (отчасти Шкловский). Возможно, что эта топографическая причина оказала косвенное влияние, возможно, сыграло свою роль воспоминание о несостоявшейся демонстрации 14 февраля, возможно, сюда повели оказавшихся на улицах солдат новоявленные вожаки движения. Но 27-го это еще не было стихийным движением: Станкевич, напр., рассказывает, как он утром 27-го пытался толпу солдат, ворвавшуюся в школу прапорщиков на Кирочной и вооружившуюся там винтовками, убедить идти к Гос. Думе и как его слова были встречены недоверием: «не заманивают ли в западню». Вероятно, гораздо большая толпа с Литейного пр. просочилась на Выборгскую сторону, которую издавна большевики считали своей вотчиной...

Керенский не поехал по казармам, как он предлагал в частном совещании членов Гос. Думы. Об этом проекте он вообще ничего не говорит в воспоминаниях. Рассказывает он другое. С утра он принял меры к тому, чтобы мятежные части направились в Думу, по телефону из Думы убедив некоторых из своих друзей заняться этим делом. В тревожном нетерпении Керенский ожидал прибытия этих частей, чтобы открыть им двери Думы и закрепить союз мятежных солдат с народными представителями – союз, «единственно который мог бы спасти положение». С волнением Керенский бегал от окна к окну, отправляя посланцев на соседние улицы, посмотреть – не идут ли восставшие войска. Они не шли. Где же «ваши войска» – спрашивали его негодующие и обескураженные депутаты. Инициатор прихода мятежных войск к Думе начинал уже серьезно беспокоиться затяжкой, с которой войска и народ запаздывали появиться перед Таврическим дворцом, когда раздался крик: идут. Керенский и другие левые депутаты бросились им навстречу с приветствием и убеждением взять на себя защиту Думы от «царских войск». Революционная армия приняла на себя охрану дворца. В «Известиях» журналистов было напечатано: «Около 2 час. сильные отряды революционной армии подошли к Государственной Думе». В эти сильные отряды превратились беспорядочные группы, перемешанные с разношерстной уличной толпой. Так положено было начало легенды, занесенной Черновым на страницы своего повествования о рождении революционной России в таких выражениях: «Первые три восставших полка, Волынский, Литовский и Измайловский, истребив одних офицеров и заставив разбежаться других, были приведены к Гос. Думе штатским прис. пов. Н.Д. Соколовым». Впрочем, у этого последнего имеется конкурент: бывшая в то время в Петербурге французская журналистка Amelie de Nery (Маркович) записала в дневник, что честь и слава привести революционную армию к Таврическому дворцу принадлежит близкой ее знакомой «Соне Морозовой» («тов. Соня» не мифическая личность – она фигурирует в большевистском окружении). Самого факта восстания целых полков и истребления части офицеров не было – убит был начальник учебной команды Волынского полка шт. кап. Лашкевич, – убит был в спину посланной вдогонку пулей (по другой официальной версии он застрелился).

Одна легенда порождает другую. Можно считать установленным фактом, что к вечеру 27-го в Таврическом дворце появилась сборная команда, имевшая признак некоторой организованности, которая и приняла на себя охрану Думы и несла караульную службу в последую-

<sup>26</sup> Это не столько воспоминания Кирпичникова, сколько протокол опроса, сделанного в полковом комитете.

щие дни. Эту часть, состоявшую преимущественно из солдат 4-й роты Преображенского полка (расположенного в Таврических казармах), привел унт.-оф. этого полка Круглов. Легенда расцветила факт, и на страницах «Хроники февральской революции» можно прочесть: «Вечером в Таврический позвонили из офицерского собрания Преображенского полка. В полном составе Преображенский полк с офицерами во главе направлялся в Гос. Думу. Это положило конец колебаниям Милюкова. Временный думский комитет в организованной войсковой части нашел свою поддержку и решил взять власть в свои руки». В изображении секретаря Родзянко Садикова (предисловие к посмертному изданию воспоминаний Родзянко) полк явился в полном составе со всеми офицерами и командиром полка кн. Аргутинским-Долгоруковым<sup>27</sup>. Легенда эта происхождения 17 года, когда в кругах «цензовой общественности», с одной стороны, пытались объяснить, почему в момент революции в распоряжении Временного Комитета не оказалось ни одной организованной военной части, тогда как все предреволюционное время проходило под знаком подготовки дворцового переворота и стихийное выступление лишь предупредило ожидавшийся в начале марта акт, а с другой стороны, пытались смягчить обострения между командным составом и солдатской массой, вызванные неучастием офицерского состава в движении 27-го, и создать впечатление, что офицеры полка всегда следовали славным традициям своих предшественников «декабристов» и что «первый полк» империи был всегда «за свободу». Эту цель и преследовала изданная Врем. Ком. брошюра тогда еще начинавшего беллетриста Лукаша, который записал рассказы офицеров и солдат запасного батальона л.-гв. Преображенского полка. Лукаш повествует, как 27-го утром в предвидении надвигающейся грозы командный состав полка собрался в офицерском собрании на Миллионной и по предложению кап. Скрипицина решил выйти на площадь Зимнего дворца и постараться собрать там другие гвардейские части («измайловцев, егерей и семеновцев») – не для того, чтобы противодействовать революции, но, чтобы избежать кровопролития, «внести порядок в ее мятущийся поток» и, «как организованная сила, предъявить требования правительству»<sup>28</sup>.

Подражание «великому историческому стоянию» в декабрьские дни 1825 года оказалось излишним, и собравшиеся 27-го на Дворцовой пл. ушли в казармы! Вечером, в 7 час., старшие офицеры во главе с командиром полка «сошлись вновь в том же офицерском собрании и решили признать власть временного правительства. В энтузиазме младшие преображенцы бегут в казармы, произносят пламенные речи о той свободе, которую ждали более “ста лет”. В разгар энтузиазма появился вел. кн. Кир. Вл., который присоединился “всем сердцем” к происшедшему. Было сообщено в Думу. В третьем часу ночи в Преображенский полк прибыл назначенный комендантом восставших частей полк. Энгельгардт и приветствовал героическое решение командного состава, прекратившее все колебания Родзянко встать во главе Временного Комитета: теперь можно сказать, что мы уже победили». Утром Преображенский полк с оркестром музыки двинулся по Миллионной ул. к Гос. Думе.

Канва рассказа шита белыми нитками – искусственность ее очевидна – она находится в коренном противоречии с тем, что показывал ген. Хабалов: две роты Преображенского полка вошли в тот правительственный отряд, который днем был направлен против бунтовщиков под

<sup>27</sup> В иных работах Преображенский полк появляется в Таврическом дворце уже 26-го, причем солдаты заявляют, что царь низложен и они отдают себя во власть Думы (Зворыкин). Русские ляпсусы породили ошибки и у иностранных обозревателей, которые представляют восставшие полки в порядке (как «на параде») вступающими на революционную стезю, напр., Измайловский полк в изображении Chessin.

<sup>28</sup> В с.-д. журнале «Мысль» позже, в 19 г., появилась статья Кричевского, в которой на основании каких-то документов излагался план, выработанный еще раньше, в предшествующие дни уличных волнений в штабе Преображенского полка, о выступлении в понедельник утром (т.е. 27-го) с целью с оружием в руках добиваться осуществления министерства доверия. Полк отдавал себя в распоряжение Гос. Думы, предполагались арест правительства и отречение Императора. Солдаты соответственно были информированы, и план 27-го начал осуществляться, но выступление оказалось уже запоздалым, так как народ стихийным порывом предупредил осуществление заговора.

начальством полк. Кутепова. К вечеру, между 5—6 час., 27-го на Дворцовой пл. был сосредоточен правительственный резерв, в состав которого входили снова две роты Преображенского полка под начальством командира полка Аргутинского-Долгорукова в соответствии с разработанным ранее расписанием на случай возможного возникновения беспорядков. Сюда же в район № 1, по расписанию с музыкой прибыли павловцы, отнюдь не для антиправительственной демонстрации. Приезжал на Дворцовую пл. и вел. кн. Кирилл для того, чтобы осведомиться, как поступить ему с гвардейским экипажем. По словам Хабалова, он ему сказал: если части будут действовать против мятежников, «милости просим», если против своих не будут стрелять, пусть лучше остаются в казарме. Вел. кн. прислал две наиболее надежные роты учебной команды. Павловцы и преображенцы, однако, ушли с Дворцовой пл. — может потому, что у них не оказалось патронов и достать их негде было (и «есть было нечего»), может быть, потому, что нач. ген. шт. Занкевич, которому было передано общее командование, поговорив с солдатами, признал собранный резерв ненадежным и не задерживал части, которые казались сомнительными. Все это очень далеко от героической идиллии, создавшейся вокруг Преображенского полка. И тем не менее известная фактическая база под ней имела. Чл. Врем. Ком. Шидловский рассказал в мемуарах, что вечером, когда Родзянко размышлял — принимать ли председательствование, ему по телефону позвонил племянник, бывший офицером в Преображенском полку, и сообщил, что офицеры полка постановили «предоставить себя в распоряжение Думы». Под влиянием этого сообщения Родзянко действительно дал свое согласие и просил Шидловского съездить на Миллионную и «поговорить» с офицерами. В собрании Шидловский застал «в полном сборе весь офицерский состав полка и значительное количество важных генералов из командного состава гвардии». По впечатлению мемуариста, «более или менее разбиравшимся в том, что происходило, оказался лишь один офицер, остальные же ничего не понимали». Шидловский объявил, что на следующий день к ним придет полк. Энгельгардт для того, чтобы дать «дальнейшие указания». На следующий день, по утверждению Шидловского, «Преображенский полк прибыл в Таврический дворец в образцовом порядке с оркестром во главе, без единого офицера, с каким-то никому не известным шт.-капитаном. Оказалось, что полк ушел без «ведома офицеров». Сейчас же посланы были автомобили, чтобы привезти офицеров, но офицеры вовремя не попали. (Эпизод этот подтверждается сохранившимся в архиве военной комиссии приказом прап. Синани с двумя автомобилями направиться на Миллионную в казармы Преображенского полка и «привезти с собой офицеров этого полка». Приказ за подписью Ржевского был помечен 4 ч. 55 м. дня.) Шидловский пытался выяснить у солдат недоразумение и получил ответ, что офицеры полка вообще «держатся как-то странно, все собираются в своем собрании, о чем-то толкуют, принимают какие-то решения, но солдатам ничего не объясняют».

Эпизод с Преображенским полком, хотя очень далекий от легенды, но подчеркивающий пассивность и колебания военной среды, должен был произвести впечатление в думском комитете, показав, что «первый полк» империи отнюдь не представляет собой боевую силу в правительственном лагере. Сведения из других полков были приблизительно аналогичны. Впоследствии отсутствие боевого настроения у командного состава отметил в своих показаниях перед Чр. Сл. Ком. Хабалов, требовавший соглашения с Думой. (Есть свидетельство, что ген. Безобразов, находившийся в Адмиралтействе, предлагал попытаться взять приступом революционную цитадель, но не встретил сочувствия в окружающем офицерстве.)

Наиболее яркую иллюстрацию к предреволюционному настроению некоторой части командного состава дает тот самый Балтийский флот, где события так трагически обернулись для морских офицеров. В эту психологическую обстановку накануне переворота вводит нас интереснейший дневник кап. 1-го ранга Рейнгартена, активного члена кружка прогрессивных моряков, сгруппировавшихся около адм. Непенина (см. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту»). Дружески связанные между собою члены кружка систематически собирались на

интимные беседы для обсуждения «текущих вопросов». Так собрались они и 27-го в 6 час. вечера в целях обменяться мнениями о «современном политическом положении». Они еще не знали того, что произошло в Петербурге в день их очередной беседы, но знали о начавшихся волнениях в столице, которые отнюдь не восприняли как начало революции. «В Петербурге – безобразия: все говорят об участии правительства в провокациях», – записал Рейнгартен<sup>29</sup>, хотя сам он за несколько дней перед тем говорил в дневнике: «Мы верно ускоренным движением приближаемся к великим событиям». «События приняли грозный оборот», – продолжает запись 27-го. «Обстоятельства не допускают промедления. Момент уже пропущен. Нужны немедленные поступки и решения. Дума и все общественные деятели вялы и мягкотелы. Надо дать им импульс извне, для этого надо иметь определенный план». Эта «программа действий» в представлении собравшихся на беседу 27-го активную роль отводила «ответственным политическим деятелям» – Государственной Думе, которая совместно с Гос. Советом должна составить «Законодательный Корпус» и избрать ответственную перед последним исполнительную власть. «Происшедшее должно быть доведено до сведения полковника» (т.е. Государя). По намечаемому плану предварительно на фронт должны быть посланы «авторитетные лица» к высшим военным начальникам, которые должны обеспечить «спокойствие» в действующей армии во время «дальнейших действий в тылу». Политически единомышленники, собравшиеся 27-го, допускали, что перед флотом может встать дилемма не подчиниться «Ставке» и «Царю», если оттуда последует распоряжение «поддержать старый порядок». «И мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы решение адмирала (т.е. Непенина) шло к спасению России». «Постановили мы так: по очереди идти к командующему и откровенно и решительно высказать свои взгляды на вещи, указав на полную невозможность выполнить такой его приказ, который пошел бы вразрез с нашими убеждениями». (Как поступил Непенин, когда в Гельсингфорс дошло «потрясающее известие» о том, что Гос. Дума образовала Временное правительство и что к нему примкнули «пять гвардейских полков», будет рассказано ниже.) События опередили намеченный план устройства предварительного совещания с общественными деятелями с целью повлиять на них и сказать, что «некоторые круги флота настойчиво просят действовать, ибо нельзя оставаться мягкотелыми и пассивными сейчас». – «Чаша терпения переполнилась».

В момент, когда Рейнгартенский кружок принимал «решение», в Гельсингфорс пришли юзогаммы о «беспорядках в войсках»<sup>30</sup> – они реально поставили представителей Гос. Думы в те же вечерние часы 27-го перед проблемой, которую теоретически обсуждала группа моряков. Продолжавшиеся колебания Врем. Ком. вызывались сознанием неопределенности положения. Вот как охарактеризовал вечерние часы 27-го один из авторов «Коллективной» хроники февральской революции и непосредственный участник движения в индивидуальной статье, посвященной памяти вольноопределяющегося Финляндского полка Фед. Линде, который сумел проявить организационную инициативу и своим влиянием на солдатскую стихию закрепить «поле битвы за революцией»<sup>31</sup>: «Сгущались сумерки, падало настроение, появились признаки сомнения и тревоги... Сознание содеянного рисовало уже мрачную картину возмездия. Расползлась видимость коллективной силы. Восставшая армия грозила превратиться в сброд, который становился тем слабее, чем он был многочисленнее. Наступил самый критический момент перелома в настроении. И революция могла принять характер бунта, которому обычно угото-

<sup>29</sup> Он добавлял: «Прочел статью в англ. журнале “New Statements”; там прямо говорится о бывших попытках заключить сепаратный мир, а про Протопопова, что он “организовал бунт”».

<sup>30</sup> Интересно, как определил дневник «лозунги» происшедших беспорядков: «Война до победы», «Долой Императрицу», «Дайте хлеба».

<sup>31</sup> Некрологическое преувеличение роли, сыгранной 27-го Линде, не имеет значения. Этот молодой философ-математик, целиком отдавшийся порывам «исторического мгновения», трагически погиб в качестве военного комиссара на фронте под ударами разнузданной солдатчины в дни подготовки июньского наступления.

ван один конец: самоистребление»... Наконец, в 11<sup>1/2</sup> час. веч., когда выяснилось, что правительство «находится в полном параличе», как выразился Родзянко в телеграмме Рузскому, «думский комитет решил наконец принять на себя бразды правления в столице». Может быть, в предвидении, что эта власть получит высшую санкцию, ибо характер переговоров, которые вел в это время председатель Думы и председатель Врем. Ком. с правительством, как мы увидим, был очень далек от той формы, которую придал им в воспоминаниях другой член Врем. Ком. Вл. Львов, утверждавший, что Родзянко получил ответ – с бунтовщиками не разговаривают: «на мятеж Совет Министров отвечает только оружием». Первое воззвание Врем. Ком. к народу, за подписью председателя Думы Родзянко, выпущенное в ночь с 27 на 28 февраля, отнюдь не было революционным. Напомним его: «Временный Комитет Г.Д. при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной маразмом старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознывая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и Армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться доверием его».

В эти часы Таврический дворец и по внешности мало походил на «штаб революции». Конечно, очень субъективны восприятия, и каждый мемуарист запомнит лишь то, что ему бросилось в глаза и что так или иначе соответствовало его настроению. Попад только «вечером» в Таврический дворец, Станкевич увидел перед дворцом лишь «небольшие, нестройные кучки солдат», а «у дверей напирала толпа штатских, учащейся молодежи, общественных деятелей, старавшихся войти в здание»<sup>32</sup>. Внутри, в «просторном зале» он нашел в «волнении» Керенского и Чхеидзе. А где же остальные члены Думы – они «разбежались, потому что почувствовали, что дело плохо». «А дело вовсе не было плохо, – заключает Станкевич, – но только оно не сосредоточивалось в Таврическом дворце, который только сам считал себя руководителем восстания. На самом деле восстание совершалось стихийно на улицах»<sup>33</sup>. Этими уличными столкновениями пыталась руководить образовавшаяся при Исп. Ком. военная комиссия под водительством ст. лейт. с. р. Филиповского и военного чиновника, библиотекаря Академии ген. шт. с.-р. Мстиславского (Масловского), в свое время выпустившего нелегальное руководство по тактике уличного боя. Они рассылали по городу для подкрепления сражавшихся или для выполнения отдельных определенных заданий «ударные группы» под начальством имевшихся в их распоряжении десятка-другого прапорщиков – преимущественно случайно оказавшихся в Петербурге «фронтовиков», не связанных с местным гарнизоном. Но «ударные группы» подчас до места назначения не доходили – «расходились по дороге». Был послан даже броневик для захвата правительства в Мариинском дворце, но был обстрелян и вернулся. (Со слов «одного из членов правительства» Родзянко рассказывает, что неосуществившееся нападение на Мариинский дворец вызвало такую там «панику», что поспешили потушить все огни – и «когда снова зажгли огонь», собеседник Родзянко, «к своему удивлению, оказался под столom». Этот «несколько анекдотический» эпизод, по мнению мемуариста, «лучше всего может характеризовать настроение правительства в смысле полного отсутствия руководящей идеи для борьбы с возникающими беспорядками».) Это впоследствии в отчете военной комиссии именовалось «боевым руководством восставших войск»... При таких условиях естественно, что решение Врем. Ком. взять власть, сообщенное в кулуарах Милюковым, было в советских

<sup>32</sup> Как далеко это от той уличной толпы, которую изобразил 27-го перед Думой в своем «селянском» увлечении Чернов – толпа, от которой пахло «дегтем, овчиной и трудовым потом».

<sup>33</sup> Не только Станкевича, но и Пешехонова поразили «тишина и безлюдие», которые он нашел в Таврическом дворце, куда он пришел в 9<sup>1/2</sup> час. вечера, идя уже по пустым улицам города с далекой Петербургской стороны. Шел Пешехонов по Литейному мимо пылающего еще здания Судебных Установлений и встречал только «отдельных прохожих».

кругах встречено аплодисментами (Пешехонов), а Суханов внутренне сказал себе: теперь переворот не будет задавлен «разрухой».

Волшебная палочка революции совершенно изменила картину на следующий день, когда правительственные войска сами «постепенно... разошлись», по характеристике главнокомандующего Хабалова. На улицах, где шла почти «беспричинная» пальба, продолжали бесцельно бродить толпы вооруженных солдат, «безумно» металась автомобили, переполненные солдатами, рабочей и учащейся молодежью, но эта внешняя анархия парализовалась притягательной силой, которую стала представлять «Государственная Дума», т.е. Таврический дворец, к которому уже трудно было «протолкаться». «Революция нашла свой центр»... – заключают составители хроники февральских событий. Первого марта перед Думой парадировали уже целые воинские части с офицерским составом – революция приобретала характер «парада» (так выражалась «Речь» в своем последующем – 5 марта – обзоре событий), на котором перед солдатами в качестве офицеров почти «монопольно», по словам Шляпникова, выступали представители Комитета Гос. Думы. Отсюда создавалось впечатление, что только вмешательство Думы дало уличному движению центр, знамя и лозунги. Это был самообман, если принять формулировку, которую в историческом повествовании, предназначенном для иностранного читателя, дал другой видный юрист-историк проф. Нольде, – в работе, характеризующей ход развития революции, он заявляет, что до 27-го движение не имело «aucun but, aucun objet». (Правда, столь решительный вывод сделан в книге, преследующей популяризаторские цели.) Подобная схема на каждом шагу, с первого часу революции, приходила в коллизию с действительностью. Не Дума руководила стихией, а стихия влекла за собой Временный Комитет. Слишком многие это непосредственно ощущали. Быть может, поэтому в рядах думских деятелей, не загипнотизированных теоретическими выкладками, наблюдались «робость, растерянность, нерешительность», отмечаемые в дневнике Гиппиус 28-го. Без соглашения с «демократией», без поддержки Совета – признает Родзянко – нельзя было водворить даже «подобие порядка». В силу этих обстоятельств вечером 1-го «додумались», по выражению Шульгина, пригласить делегатов от Совета. Они пришли по собственной инициативе, как утверждает Суханов, но производило впечатление, что их ждали, что думские люди считали неизбежной «решающую встречу», но, не ориентируясь как следует в советских настроениях, предпочитали выжидательную тактику.

### 3. Переговоры

Последуем за Сухановым в рассказе о том, что происходило в «учредительном» и «ответственном» заседании, начавшемся в первом часу<sup>34</sup>. По мнению Суханова, никакого официального заседания не происходило – это был обмен мнениями, «полуприватными репликами», заседание без формального председателя и т.д. Вел беседу с советскими делегатами Милюков – видно было, что он «здесь не только лидер», но и «хозяин в правом крыле». Большинство хранило «полнейшее молчание» – «в частности, глава будущего правительства кн. Львов не проронил за всю ночь ни слова». Сидел «все время в мрачном раздумии» Керенский, не принимавший «никакого участия в разговорах». Суханов запомнил лишь отдельные реплики Родзянко, Некрасова, Шульгина и Вл. Львова. С такой характеристикой, в общем, согласны все мемуаристы из числа присутствовавших тогда лиц. Четверо (т.е. три советских делегата и Милюков) вели дебаты – вспоминает Шульгин: «Мы изредка подавали реплики из глубокой протрации». Керенский, в свою очередь, упоминает, что он ничего не может сказать о переговорах, так как он принимал в них очень маленькое участие. В тех редких случаях, когда он

<sup>34</sup> Милюков изображает его объединенным заседанием Временного Комитета и Временного правительства, причем добавляет, что Вр. пр. охотно пошло на обсуждение условий, выдвинутых Советом. Надо ли говорить, что в момент, когда происходило заседание, Вр. пр. еще не было сконструировано, хотя и были уже намечены лица, которые должны были в него войти.

присутствовал на длительном «заседании», был совершенно инертен и едва (a peine) слушал то, о чем говорили<sup>35</sup>. Керенский – практик, а не теоретик – не придавал, по его словам, никакого значения этим академическим разговорам общего характера.

Беседа началась – по рассказу Суханова – с разговора о царившей в городе анархии, о необходимости бороться с эксцессами, но «агитаторы, – замечает мемуарист, – не замедлили убедиться, что они ломятся в открытую дверь» и что основная «техническая» задача Совета заключается в борьбе с анархией. Суханов постарался перевести разговор на другие рельсы, указав, что основной целью данного совещания является выяснение вопроса об организации власти и планов руководящих групп Государственной Думы. Совет предоставляет цензовым элементам образовать Временное правительство, считая, что это соответствует интересам революции, но, как единственный орган, «располагающий сейчас реальной силой», желает изложить те требования, которые он от имени демократии предъявляет к правительству, создаваемому революцией. Вслед за тем Стеклов торжественно огласил принятые будто бы Советом положения. «На лице Милюкова можно было уловить даже признаки полного удовлетворения», – повествует рассказчик. Милюков, вероятно, ожидал, что будут выдвинуты боевые вопросы о войне и социальных заданиях революции. Но боевые лозунги были сняты представителями «демократии», выступившими со своей платформой в среде «цензовой общности»: даже решено было «не настаивать перед прогрессивным блоком на самом термине Учредительного Собрания». То, что представители демократии не заговорили о войне, открывало будущему правительству известную свободу действий в этом отношении, что и учитывалось в противном лагере, как явление положительное.

Единственным боевым программным пунктом явился вопрос о монархии. Милюков решительно отказывался принять формулировку, предложенную в советской платформе и гласившую, что «Времен. Правит. не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления». Соглашаясь на то, что вопрос окончательно решит Учредительное собрание, лидер «прогрессивного блока» требовал сохранения монархии и династии в переходный момент. Милюков считал, что царствующий император подлежит устранению, но на вакантный престол должен быть возведен его наследник при регентстве вел. кн. Михаила. По уверению Суханова, защитник монархического принципа пытался воздействовать на представителей демократии довольно грубой и упрощенной аргументацией, доказывая им, что в переходное время монархия не опасна, принимая во внимание личные качества ближайших претендентов на власть: «один больной ребенок, а другой совсем глупый человек». Насколько подобная аргументация была распространена в думских кругах, показывает запись о разговорах, что «Михаил будет пешкой», и т.д. Тщетно противная сторона пыталась указать Милюкову на утопичность его плана, считая «совершенно абсурдным» попытку отстаивать династии и получить на это санкцию демократии. Керенский в воспоминаниях весьма скептически отозвался о позиции советской делегации – тех представителей революционной демократии, которые вместо того, чтобы требовать немедленно провозглашения республики, выступали на ролях каких-то непредрежденных. Но тогда сам он не нарушил своего молчания, хотя и знал, что большинство думского комитета стоит за монархию, – не нарушил потому, что вопрос казался ему фактически предрежденным в сторону республиканскую: уже в ночь на 28-е Керенский знал, что династия исчезла навсегда из истории России<sup>36</sup>. По утверждению Милюкова, делегаты согласились отказаться от пункта, согласно которому «вопрос о форме правления оставался открытым» (в эту минуту – добавляет историк-мемуарист – в этой скромной форме обеспе-

<sup>35</sup> Воспоминания Керенского действительно показывают, что он плохо вникал в то, о чем говорилось, поэтому так легко на страницах его повествования появляются необоснованные утверждения вроде того, что, напр., программа соглашения «демократии» и «цензовиков» предварительно была выработана думским комитетом.

<sup>36</sup> На совещании присутствовал и председатель Совета Чхендзе, входивший в состав думского комитета, но роль его в часы ночного бдения на 2-е марта совершенно неясна.



чивалась возможность разрешения этого вопроса в смысле республики, тогда как временное правительство (?) принимало меры к обеспечению регентства Михаила»). Суханов позже по-другому информировал об итоге совещания левое крыло Таврического дворца: оставалось еще неликвидированным разногласие о форме правления, т.е. вопрос продолжал быть открытым – во всяком случае для советской стороны.

Другие пункты, по мнению Суханова, не вызывали больших возражений. Милюков говорит, что по его настоянию «после продолжительных споров» делегаты согласились «вычеркнуть требование о выборности офицеров», т.е. отказались от введения в число условий своей поддержки того самого принципа, который уже утром 2 марта они положили в основу знаменитого приказа № 1. Выходит как будто бы, что делегаты нарушили соглашение прежде, чем оно было окончательно заключено. Неувязка в тексте историка будет ясна, когда мы познакомимся с условиями издания «приказа № 1», в котором нет ни слова о выборности офицеров. В тезисах, оглашенных Стекловым, говорилось лишь о самоуправлении армии, под которым подразумевалась организация полковых комитетов, регулирующих внутреннюю жизнь войсковых частей. Так или иначе соглашение было достигнуто, по-видимому, легко, добавлением о распространении политических свобод на военнослужащих «в пределах, допускаемых военнотехническими условиями» (п. 2). В пункте 8 то же положение о солдатских правах в сущности еще раз было повторено с оговоркой: «при сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы». Вопреки утверждениям, попадающим в исторических работах<sup>37</sup>, о том, что думский комитет вынужден был признать столь роковой впоследствии пункт о невыводе из Петербурга воинских частей, принимавших участие в восстании, этот пункт не вызвал никаких возражений, ибо имел «временный характер» и трактовался как шаг, тактически необходимый для успокоения солдатских масс. «В ту минуту» как-то о будущем думали мало и многого не предвидели. Обсудив условия поддержки Советом вновь образующейся власти, Совещание перешло к рассмотрению «требований» цензовиков, которые в формулировке Суханова сводились к требованию заявления со стороны Совета, что новое правительство «образовалось по соглашению с Советом», и принятия Исп. Ком. соответствующих мер для водворения спокойствия и особенно в налаживании контакта между солдатами и офицерами. Это не вызвало возражений, и в дальнейшем советские делегаты были информированы о предположениях насчет личного состава правительства, причем, по словам Суханова, имя представителя демократии Керенского не было упомянуто.

Во время беседы Соколов принес составленную в алармистских тонах прокламацию, которая выпускалась Гучковым от имени объединенной военной комиссии, им возглавленной. Хотя «ничего особенно страшного» в прокламации не было, делегаты Совета заволновались и указали на несвоевременность таких воинствующих выступлений, принимая во внимание, что Совет в целях соглашения снял с очереди свои военные лозунги. И здесь возражений не последовало, и думские представители согласились на задержание прокламации. Решено было сделать перерыв для того, чтобы Временный Комитет мог обсудить отдельно намеченные пункты соглашения. По предложению Милюкова во время перерыва советские делегаты должны были заняться составлением декларации для опубликования ее совместно с декларацией Правительства. Постановлено было собраться через час, т.е. около 5 час. утра. Когда Суханов возвращался в помещение, занятое Исп. Ком., он встретил в коридоре Гучкова, который только теперь направлялся в думский комитет. Суханов сообщил Гучкову о судьбе его прокламации и изложил мотив ее задержания: «Гучков выслушал, усмехнулся и, ничего не сказав, пошел дальше». В Исп. Ком. Суханова ждал новый сюрприз. Появился листок, выпущенный совместно петербургской организацией соц.-рев., руководимой большевизанствующим Александровичем, сторонником «социалистической власти немедленно», и «междурайонцами». Про-

<sup>37</sup> Напр., в биографии кн. Львова, написанной Полнером.

кламация была направлена против офицеров. «Теперь, когда вы восстали и победили, – гласило воззвание к солдатам, – к вам приходят... бывшие враги офицеры, которые называют себя вашими друзьями. Солдаты, лисий хвост нам страшнее волчьего зуба». Для того чтобы «не обманули дворяне и офицеры – эта романовская шайка, – возьмите власть в свои руки, выберите сами взводных, ротных и полковых командиров... Все офицеры должны быть под контролем ротных комитетов. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа». Слухи о прокламации проникли в думскую половину Таврического дворца. «Как буря» влетел Керенский, обвиняя издателей прокламации в провокации. В объективной оценке факта сходились все, и наличный состав Исп. Ком. решил задержать и эту прокламацию до решения Исп. Ком. на следующий день...

На сцене выдвинулись другие осложнения. Вновь появившийся Керенский сообщил, что «соглашение сорвано», что цензовики не соглашаются «организовать правительство» при создавшихся условиях. Оказалось, что Соколов по собственной инициативе написал проект декларации и огласил ее в среде думского комитета<sup>38</sup>.

Она была неудачна – признает Суханов. Посвятив декларацию целиком выяснению перед солдатами физиономии офицерства, Соколов сделал это в тонах, которые давали основание для вывода, что никакого контакта с офицерами быть не может. В думском помещении, куда немедленно направился Суханов, уже не было «почти никого из прежних участников или зрителей Совещания», и только за столом сидели Милюков и Соколов – Милюков переделывал соколовскую декларацию: «никаких следов от какого-либо инцидента»... не было. Впоследствии Суханову говорили, что дело было вовсе не в неудачном тексте проекта Соколова, а в том, что Гучков «устроил род скандала» своим коллегам и что он отказался участвовать в Правительстве, которое лишено права высказываться по «кардинальному вопросу своей будущей политики», т.е. о войне. «Выступление Гучкова, – пишет Суханов, – произвело пертурбацию, и возможно, что оно действительно подорвало тот контакт, который, казалось, уже обеспечивал образование правительства на требуемых нами основах». То, что говорили Суханову, подтверждает и Милюков в своей истории: «Когда все эти переговоры были уже закончены, поздно ночью... приехал А.И. Гучков, прошедший весь день в сношениях с военными частями и в подготовке обороны столицы на случай ожидавшегося еще прихода войск, посланных в Петроград по приказу Николая II. Возражение Гучкова по поводу уже состоявшегося соглашения побудило оставить весь вопрос открытым». «Только утром следующего дня, по настоянию М.В. Родзянко, П.Н. Милюков возобновил переговоры». Это утро следующего дня в изображении Суханова наступило через час. Инцидент с выступлением Гучкова, которого мы еще коснемся, влияния на соглашение не имел. Гораздо большее разногласие у Милюкова и Суханова имеется в вопросе о советской декларации, которую отчасти написал, отчасти редактировал сам Милюков. Эта декларация в окончательном виде состояла из трех абзацев. Ее начал писать Суханов, продолжил, очевидно, Соколов, текст которого и был заменен текстом Милюкова. «Товарищи и граждане, – писал Суханов, – приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для победы этой нужны еще громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твердость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, расхищения и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу». «Не устранена еще опасность военного движения против революции, – заканчивал Милюков. – Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совмест-

<sup>38</sup> Этот человек вообще спешил с инициативой – по записи Гиппиус ему приписывается и редакция согласительных пунктов, написанных будто бы его собственной рукой.

ную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство; будут бережно обращаться с чувством чести солдата... С своей стороны солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию. Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к той решительной борьбе, которую вы ведете со старым режимом». К этому тексту прибавлено было введение, написанное Стекловым: «Новая власть, создающаяся из общественно умеренных слоев общества, объявила сегодня о всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью, демократия должна оказать ей свою поддержку». Милюков утверждает, что первая часть была добавлена на другой день, после обсуждения соглашения в Совете, и что в этих словах сказалась «подозрительность», с которой Совет обещал правительству поддержку. Здесь была принята «впервые та знаменитая формула: “постольку поскольку”, которая заранее ослабляла авторитет первой революционной власти среди населения». Из не совсем определенных указаний Суханова вытекает, что этот абзац был введен после его ухода Стекловым, продолжавшим совещаться с Милюковым. С категоричностью можно утверждать лишь то, что «на другой день» (вернее в ту же ночь) при окончательной редакции приведенного *in extenso* текста введение было санкционировано Милюковым без протеста (в Совете соглашение обсуждаться еще не могло).

Если сравнить рассказ Суханова (с добавлениями, взятыми у Милюкова) с рассказом Шульгина о том, что происходило в ночь с 1-го на 2-е, ясно будет, почему приходится безоговорочно отвергнуть драматическое изложение последнего. Упомянув о «грызне» Врем. Ком. с «возрастающей наглостью» Исполкома, Шульгин сообщает, что «вечером додумались пригласить в Комитет Гос. Думы делегатов от Исполкома, чтобы договориться до чего-нибудь». Всем было ясно, что возрастающее двоевластие представляло грозную опасность. В сущности, вопрос стоял – «или мы, или они». Но «мы не имели никакой реальной силы». И вот пришли трое – «какие-то мерзавцы», по слишком образной характеристике мемуариста. «Я не помню, с чего началось»... но «явственно почему-то помню свою фразу: одно из двух – или арестуйте всех нас... и правьте сами. Или уходите и дайте править нам»... «За этих людей взялся Милюков». «С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами»...

«Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть не на коленях молить «двух мерзавцев» из жидов и одного «русского дурака» (слова эти почему-то берутся в кавычки!)... Мы, «всероссийские имена», были бессильны, а эти «неизвестно откуда взявшиеся» были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров»<sup>39</sup>. И «седовласый» Милюков должен был убеждать, умолять, заклинять. «Это продолжалось долго, бесконечно». Затем начался столь же бесконечный спор насчет выборного офицерства. Наконец, пошли писать (все те же «трое»). Написали. «Заседание возобновилось... Началось чтение документа. Он был длинен. Девять десятых его были посвящены тому, какие мерзавцы офицеры... Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует... Милюков вцепился в них мертвой хват-

<sup>39</sup> Еще днем Суханов совместно со Стекловым составил воззвание к солдатам против самосудов и насилий над офицерами. Оно не было напечатано в «Известиях», так как наборщики отказались набирать его, найдя, что оно стоит в некотором «противоречии» с одновременно набравшимся «приказом № 1». Так, по крайней мере, говорит Суханов.

кой... Я не помню, сколько часов это продолжалось... Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову... Направо от меня лежал Керенский... в состоянии полного изнеможения... Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ... Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира... Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах... Я желал бы поговорить с вами... Это он сказал тем трем: резко, тем безапелляционным, шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни... – Только наедине!.. Идите за мной!.. Через четверть часа дверь «драматически» раскрылась. Керенский бледный, с горящими глазами: представители Исп. Ком. согласны на уступки... Трое снова стали добычей Милюкова. На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст... Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два-три часа ночи...» Ничего подобного не было. Впрочем, сам Шульгин замечает: «я не помню...» «Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша». И это вполне соответствует тому, что мы читаем в напечатанных воспоминаниях Шульгина. От всех переговоров в ночь на 2-е марта у Шульгина осталось впечатление, что речь шла только о каком-то умиротворяющем воззвании к солдатам<sup>40</sup>.

Более чем произвольное изложение мемуариста сопровождается определенным аккомпанементом, мало соответствующим настроением, которые господствовали в эту ночь. Они, надо думать, в действительности не отвечали тогдашнему самочувствию самого Шульгина. В 28 году Шульгину были отвратительны призывы: «свобода, свобода, свобода – до одури, до рвоты». Свои эмигрантские переживания он переносит в годы, о которых рассказывает как мемуарист. По воспоминаниям он с первого часа революции мечтал о том, как бы «разогнать всю эту сволочь», всю эту «многотысячную толпу», имевшую «одно общее неизреченно гнусное лицо»: «ведь это – были воры в прошлом (?), грабители в будущем». «Как я их ненавижу!» Умереть, «лишь бы не видеть отвратительного лица этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда». «Ах, пулеметов – сюда, пулеметов!» – вот «чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы! – этот зверь был... Его Величество русский народ». Такими образами буквально переполнены страницы, посвященные февральским дням, причем сокращенные цитаты дают лишь бледную копию всех перлов литературного красноречия автора воспоминаний. Конечно, может быть, таковы и были подлинные чувства правого националиста. Если это было так, то Шульгин, очевидно, в революционной столице умел тогда скрывать свои настроения. (Мы увидим, что в Пскове, как свидетельствует официальная запись, Шульгин выявил свой облик довольно близко к тому, что он пишет в воспоминаниях.) Иначе совершенно непонятно, как мог бы Керенский получить впечатление, что в те дни Шульгин проявлял «un esprit révolutionnaire sincère»? Как мог самый правый член думского комитета числиться в кандидатах революционного правительства? – «Он мог войти в правительство, если бы захотел», – говорит Милюков, но «отказался и предпочел остаться в трудную минуту для родины при своей профессии публициста». Иным, чем в собственных воспоминаниях, рисуется Шульгин в часы переговоров и Суханову, в изложении которого Шульгин, рекомендуясь монархистом, «был мягче Милюкова, высказывая лишь свои общие взгляды по этому предмету» и не выражая никаких «ультимативных» требований. Сопартнер Суханова при ночных переговорах, Стеклов в докладе, сделанном в совещании Советов, характеризуя «перерождение в дни революционного пожара в вихре революционных событий психологии... группы цензовых буржуазных слоев», упоминал о Шульгине, который, выслушав текст одного из пунк-

<sup>40</sup> Сцену ухода Керенским Соколова (а не всех делегатов) для частной беседы отмечает в воспоминаниях и Вл. Львов, ставя это внушение в связь с «приказом № 1», к составлению которого Соколов был причастен (см. ниже). Возможно, что это было по линии масонства, связывавшей обоих деятелей левого крыла тогдашней предреволюционной общественности. (См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту».)

тов платформы, определявшей ближайшую деятельность будущего временного правительства – «принять немедленно меры к созыву Учр. собрания»... «потрясенный встал с своего места, подошел и заявил: «Если бы мне сказали два дня тому назад, что я выслушаю это требование и не только не буду против него возражать, но признаю, что другого исхода нет, что эта самая рука будет писать отречение Николая II, два дня назад я назвал бы безумцем того, кто бы его сказал, и себя считал бы сумасшедшим, но сегодня я ничего не могу возразить. Да, Учред. собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования». Не один Шульгин был в таком настроении. Стеклов утверждал, что Родзянко, также «потрясенный» событиями, которые для него «были еще более неожиданны, чем для нас», слушая «ужасные пункты», говорил: «по совести ничего не могу возразить». Очевидно, общий тон переговоров здесь передан значительно вернее, нежели в личных воспоминаниях Шульгина. Только так переживая эти моменты, сам Шульгин позднее мог сказать на собрании членов Думы 27 апреля: «“Мы спаялись с революцией”, ибо не могли бы спаяться ни при каких условиях с горсточкой негодяев и маньяков, которые знали, что хотели гибели России», патриотически настроенные люди, даже «раздавленные тяжестью свалившегося» на них бремени.

#### 4. Настроения первого марта

После крушения «самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной» революции (так восторженно отзывался прибывший в Россию французский социалист министр Тома), после того как в густом тумане, застлавшем политические горизонты, зашло «солнце мартовской революции», многие из участников ее не любят вспоминать о том «опьянении», которое охватило их в первые дни «свободы», когда произошло «историческое чудо», именовавшееся февральским переворотом. «Оно очистило и просветило нас самих», – писал Струве в № 1 своего еженедельника «Русская Свобода». Это не помешало Струве в позднейших размышлениях о революции сказать, что «русская революция подстроена и задумана Германией». «Восьмым чудом света» назвала революцию в первой статье и «Речь». Епископ уфимский Андрей (Ухтомский) говорил, что в эти дни «совершился суд Божий». Обновленная душа с «необузданной радостью» спешила инстинктивно вовне проявить свои чувства, и уже 28-го, когда судьба революции совсем еще не была решена, улицы Петербурга переполнились тревожно ликующей толпой, не отдававшей себе отчета о завтрашнем дне<sup>41</sup>. В эти дни «многие целовались» – скажет левый Шкловский. «Незнакомые люди поздравляли друг друга на улицах, христосовались, будто на Пасху», – вспоминает в «Былом» Кельсон. Таково впечатление и инженера Ломоносова: «В воздухе что-то праздничное, как на Пасху». «Хорошее, радостное и дружное» настроение, – отмечает не очень лево настроенный депутат кн. Мансырев. У всех было «праздничное настроение», – по характеристике будущего члена Церковного Собора Руднева, человека умеренно правых взглядов. Также «безоглядно и искренно» все радовались кругом бывш. прокурора Судебной палаты Завадского. «Я никогда не видел сразу в таком количестве столько счастливых людей. Все были именинниками», – пишет толстовец Булгаков<sup>42</sup>. Всегда несколько скептически настроенная Гиппиус в «незабвенное утро» 1 марта, когда

<sup>41</sup> «Праздничное, радостное возбуждение» Пешехонов у себя на Петербургской стороне отметил раньше – 27-го.

<sup>42</sup> Любопытно, что Булгаков, оказавшись в писательской среде Мережковского, нашел, что он «в первый раз сталкивался за эти дни с таким мрачным взглядом на судьбу революционной России». Дневник Гиппиус, если он точно в своих записях передает тогдашние настроения своего автора, отнюдь не дает достаточного материала для безнадежного пессимизма. Возможно, что «детски сияющий», по выражению писательницы, толстовец несколько переоценил законный скепсис язвительного Антона Крайнего по поводу «кислых известий о нарастающей стихийности и вражде Советов и думцев»... Гиппиус признается, что навел на них «ужаснейший мрак» пришедший «в полном отчаянии и безнадежности» в 11 час. веч. из Думы не кто иной, как будущий левый с.-р. Иванов-Разумник: он с «полным ужасом и отвращением» смотрел на Совет. Позже Иванов-Разумник, в страничке воспоминаний, напечатанной в партийном органе «Знамя», заявлял, что это он попал в «штаб-квартиру будущей духовной контрреволюции».

к Думе текла «лава́на войск» – «стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой», видела в толпе все «милые, радостные, верящие лица». Таких свидетельств можно привести немало, начиная с отклика еще полудетского в дневнике Пташкиной, назвавшей мартовские дни «весенним праздником». Это вовсе не было «дикое веселье рабов, утративших страх», как определял ген. Врангель настроение массы в первые дни революции. И, очевидно, соответствующее опьянение наблюдалось не только в толпе, «влюбленной в свободу» и напоминавшей Рудневу «тетеревов на току». Известный московский адвокат, видный член центрального комитета партии к. д., польский общественный деятель Ледницкий рассказывал, напр., в Московской Думе 2 марта о тех «счастливых днях», которые он провел в Петербурге. Москвичи сами у себя находились в состоянии не менее радужном: «ангелы поют в небесах» – определяла Гиппиус в дневнике тон московских газет. На вопрос из Ставки представителя управления передвижением войск полк. Ахшарумова 2 марта в 11 час. о настроении в Москве – жителей и войск, комендант ст. Москва-Александровская без всяких колебаний отвечал: «настроение прекрасное, все ликуют». В этом всеобщем ликовании – и повсеместном в стране – была вся реальная сила февральского взрыва<sup>43</sup>. Очевидно, ликовали не только «определенно левые», как пытался впоследствии утверждать знаменитый адвокат Карабчевский. Недаром, по утверждению Вл. Львова, даже Пуришкевич в дни «мартовского ликования» ходил с «красной гвоздичкой».

Конечно, были и пессимисты – и в среде не только деятелей исчезавшего режима. Трудовик Станкевич, определявший свое отношение к событиям формулой: «через десять лет будет хорошо, а теперь – через неделю немцы будут в Петрограде», склонен утверждать, что «такие настроения были, в сущности, главенствующими... Официально торжествовали, славословили революцию, кричали “ура” борцам за свободу, украшали себя красным бантом и ходили под красными знаменами... Но в душе, в разговорах наедине, – ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то невидимым путем... Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния». Такая обобщающая характеристика лишена реального основания. Смело можно утверждать, что отдельные голоса – может быть, даже многочисленные – тонули в общей атмосфере повышенного оптимизма. Ограничения, пожалуй, надо ввести, – как мы увидим, только в отношении лиц, ответственных за внешний фронт, – и то очень относительно. Не забудем, что ген. Алексеев, столь решительно выступавший на Моск. Гос. Сов., все же говорил о «светлых, ясных днях революции».

«Широкие массы легко поддавались на удочку всенародного братства в первые дни» – признает историк-коммунист Шляпников.

Пусть это «медовое благолепие» первых дней, «опьянение всеобщим братанием», свойственным «по законам Маркса», всем революциям, будет только, как предсказывал не сентиментальный Ленин, «временной болезнью», факт остается фактом, и этот факт накладывал своеобразный отпечаток на февральско-мартовские дни. И можно думать, что будущий член Временного правительства, первый революционный синодский обер-прокурор Вл. Львов искренне «плакал», наблюдая 28-го «торжественную картину» подходивших к Государ. Думе полков со знаменами. «Плакали», по его словам, и солдаты, слушавшие его слащавую речь: «Братцы! да здравствует среди нас единство, братство, равенство и свобода», – речь, которая казалась реалистически мыслящему Набокову совершенно пустой. Однако окружавшая обстановка победила первоначальный скептицизм Набокова, просидевшего дома весь первый день революции, и он сам почувствовал 28-го тот подъем, который уже рассеян был в атмосфере. Это было проявление того чувства имитативности, почти физического стремления слиться с массой и быть заодно с ней, которое может быть названо революционным психозом.

<sup>43</sup> Характерно, что воспоминания о своего рода пасхальных настроениях проходят во множестве мемуарных откликов: в Киеве все поздравляли друг друга, как «в светлый Христов день» (Оберучев).

Колебания и сомнения должны были проявляться в среде тех, кто должен был «стать на первое место», конечно, гораздо в большей степени, нежели в обывательской безответственной интеллигентной массе. Допустим, что прав французский журналист Анэ, посещавший по несколько раз в день Думу и писавший в статьях, направляемых в «Petit Parisien»<sup>44</sup>, что «члены Думы не скрывают своей тоски». И тем не менее всеобщего гипноза не мог избежать и думский комитет. Поэтому атмосфера ночных переговоров, обрисованная в тонах Шульгина, не могла соответствовать действительности. Ведь трудно себе даже представить через тридцать лет, что в заключительной стадии этих переговоров столь чуждый революционному экстазу Милюков расцеловался со Стекловым – так, по крайней мере, со слов Стеклова рассказывает Суханов<sup>45</sup>. Симптомы политических разногласий двух группировок, конечно, были налицо: их отмечала телеграмма, посланная главным морским штабом (гр. Капнистом) первого марта в Ставку (адм. Русину) и помеченная 5 час. 35 мин. дня: «...Порядок налаживается с большим трудом. Есть опасность возможности раскола в самом Комитете Г.Д. и выделения в особую группу крайних левых революционных партий и Совета Раб. Деп.», но эти разногласия в указанной обстановке вовсе не предугазывали еще неизбежность разрыва и столкновения, на что возлагала свои надежды имп. Алек. Фед. в письме к мужу 2 марта: «Два течения – Дума и революционеры – две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу голову, – это спасло бы положение».

Надо признать довольно бесплодную попытку учесть сравнительно удельный вес того и другого революционного центра в условиях уличных волнений первых дней революции – и совершенно бесплодна такая попытка со стороны лиц, не проникавших по своему положению в самую гущу тогдашних настроений массового столичного жителя и солдатской толпы. Талантливый мемуарист проф. Завадский совершенно уверен, что звезда «примостившегося» к Гос. Думе Совета Раб. Деп. «меркла в первое время в лучах думского комитета» и что «временный комитет Думы обладал тогда такою полнотою власти духовной и физической, что без существенных затруднений мог взять под стражу членов советских комитетов». Такие слишком субъективные позднейшие оценки (Завадский ссылается на «впечатление многих уравновешенных» и, на его взгляд, «не глупых людей») не имеют большого исторического значения уже потому, что этот вопрос просто не мог тогда возникнуть в сознании действовавших лиц – и не только даже в силу отмеченных идеалистических настроений. По утверждению Шульгина подобная мысль не могла прийти в голову уже потому, что в распоряжении Комитета не было никаких «вооруженных людей»<sup>46</sup>. По позднейшему признанию Энгельгардта, сделанному Куропаткину в мае, он был «хозяином лишь первые шесть часов». Лишь очень поверхностному и случайному наблюдателю могло казаться, что весь Петербург в руках комитета Гос. Думы. Так докладывал 2-го прибывший в Москву в исключительно оптимистическом настроении думский депутат, член партии к. д., проф. Новиков (это отметил № 3 Бюллетеня Ком. Общ. Организ.). «Спасти русскую государственность», как несколько высокопарно выражается Керенский, Врем. Ком. без содействия Совета было крайне трудно. Совет, по своему составу естественно стоявший в большой непосредственной близости к низам населения, легче мог влиять на уличную толпу и вносить некоторый «революционный» порядок в хаос и стихию.

<sup>44</sup> Эти статьи и составляют как бы подневную запись мемуариста, принадлежавшего к буржуазной среде и освещавшего события с известной тенденцией.

<sup>45</sup> Эту сентиментальную сцену нельзя не сопоставить с последующей трактовкой тогдашнего «душевного состояния» лидера цензовой общественности, данной Алдановым в историческом этюде «Третье марта», который был напечатан в юбилейном сборнике в честь Милюкова. Писатель говорит (как будто бы со слов самого Милюкова) о «ужасных подозрениях» Милюкова, которые в «глубине души» шевелились, – вел ли он политические переговоры с представителями «революционной демократии», или перед ним были «германские агенты» (!).

<sup>46</sup> Однако, по словам того же мемуариста, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Гос. Думы казаку Караулову. Он задумал «арестовать всех» и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее «надежном полку», он увидел, что если он не перестанет, то ему самому несдобровать.

Отрицать такое организующее начало Совета в первые дни может только тот, кто в своем предубеждении не желает считаться с фактами<sup>47</sup>. Подобное сознание неизбежно само по себе заставляло избегать столкновения и толкало на сотрудничество. Также очевидно было и то, что без активного содействия со стороны Совета думский комитет, связавший свою судьбу, судьбу войны и страны с мятежом, не мог бы отразить подавление революции, если бы извне сформировалась такая контрреволюционная правительственная сила. А в ночь с 1-го на 2-е марта для Временного Комитета совершенно неясно было, чем закончится поход ген. Иванова, лишь смутные и противоречивые сведения о котором доходили до Петербурга. Довольно показательно, что именно по инициативе Милюкова в согласительную декларацию от Совета, выработанную в ночном совещании, было введено указание на то, что «не устранена еще опасность военного движения» против революции. Эта опасность служила не раз темой для речей Милюкова, обращенных к приходившим в Таврический дворец воинским частям. Так, напр., по тогдашней записи 28-го лидер думского комитета, обращаясь к лейб-гренадерам, говорил: «Помните, что враг не дремлет и готов стереть нас с вами с лица земли»<sup>48</sup>. Вероятно, в ночь на второе отсутствовавший на переговорах Гучков, кандидат в военное министерство и руководитель военной комиссии Врем. Ком., пытался если не организовать защиту, как утверждал в своей речи 2-го Милюков, то выяснить положение дел со стороны возможной обороны. Надо было обезвредить Иванова и избежать гражданской войны.

Неопределенная обстановка, вопреки всем схемам и теоретическим предпосылкам, накладывала и во Временном Комитете отпечаток на переговоры, которые велись с ним от имени Исп. Ком. Совета. Этот отпечаток довольно ясно можно передать записью в дневнике Гиппиус, помеченной 11 час. 1-го марта: «Весь вопрос в эту минуту: будет ли создана власть или не будет. Совершенно понятно, что... ни один из Комитетов, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье...» «Нужно согласиться, – записывает перед тем писательница, – и не через 3 ночи, а именно в эту ночь». «Вожаки Совета» и «думские комитетчики» «обязаны идти на уступки»... «Безвыходно, они понимают»... «Положение безумно острое». По записям Гиппиус, сделанным на основании информации, которую «штаб» Мережковских получал от Иванова-Разумника (преимущественно, однако, в передаче Андрея Белого), можно заключить, что в течение всего первого марта шли непрерывные переговоры о конструкции власти между «вожаками совета» и «думцами-комитетчиками» и «все отчетливее» выяснялся «разлад» между Врем. Комитетом и Советом. Напр., под отметкой «8 час.» можно найти такую запись: «Боре телефонирует из Думы Ив. Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклеенного между Комитетом и Советом, следит, должно быть, как разворачивается это историческое, двуглавое заседание». Такое представление, как бы опровергающее версию Суханова, будет, очевидно, очень неточно. Дело может идти лишь о том «неуловимом» контакте, который неизбежно устанавливался между двумя действующими «параллельно» крыльями Таврического дворца и сводился к частным разговорам и официальной информации. Никаких конкретных данных, свидетельствующих о том, что члены думского комитета были более или менее осведомлены о течениях, намечавшихся в Совете, мы не имеем. Скорее приходится предположить, что деятели Комитета не имели представления о том, что при обсуждении программного вопроса в советских кругах была выдвинута некоторой группой идея коалиционного правительства. По собственной инициативе люди «прогрессивного блока» такой идеи выдвинуть не могли, ибо они по своей психологии туго осваивались с тем новым,

<sup>47</sup> В свое время это организующее значение отметил Милюков, относившийся с резким отрицанием к захватническим тенденциям руководителей Совета.

<sup>48</sup> Яркий пример того, как позднейшие биографы неточно передают настроения своих героев в смутные дни революции. В упомянутой юбилейной памятке Алданов пишет о Милюкове: «Со своим обычным видом “смотреть бодро” он говорил солдатам об открывающейся перед Россией новой светлой жизни, и видение близкой гибели Российского государства складывалось в нем все яснее».



что вносила революция, органически «еще не понимали», – как записывает Гиппиус, – что им суждено действовать во «время» и в «стихии революции». Неверный учет происходивших событий искривлял историческую линию – быть может, единственно правильную в то время. В ночь, когда две руководящие в революции общественные группы вырабатывали соглашение, никто не поднял вопроса о необходимости попытаться договориться по существу программы, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Известная договоренность, конечно, требовала и другого состава правительства. «Радикальная» программа, которая была выработана, являлась только внешней оболочкой – как бы преддверием к свободной дискуссии очередных социально-политических проблем. В действительности получался гнилой компромисс, ибо за флагом оставались все вопросы, которые неизбежно должны были выдвинуться уже на другой день.

Возможен ли был договор по существу при внешне диаметрально противоположных точках зрения? Не должен ли был трезвый ум во имя необходимого компромисса заранее отвергнуть утопии? Как ни субъективен будет ответ на вопрос, который может носить лишь предположительный характер, подождем с этим ответом до тех пор, пока перед нами не пройдет фильмовая лента фактов, завершивших собой события решающей ночи. В них, быть может, найдем мы прямое указание на то, что в тогдашней обстановке не было презумпции, предугазывающей невозможность фактического соглашения. Можно констатировать один несомненный факт: вопрос, который представлялся кардинальным для хода революции, не был в центре внимания современников. Объяснить это странное явление макиавеллистической тактикой, которую применяли обе договаривающиеся стороны, желая как бы сознательно обмануть друг друга – так вытекает из повествования мемуаристов, – едва ли возможно... Наложили свой отпечаток на переговоры ненормальные условия, в которых они происходили... Никто не оказался подготовленным к революции – во всяком случае в тех формах, в которых она произошла. Все вопросы пришлось, таким образом, разрешать *ex abrupto*, в обстановке чрезвычайной умственной и физической переутомленности, когда лишь «несколько человек», по выражению Шульгина, «в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях». Но и эти «несколько человек» отнюдь не могли спокойно проанализировать то, что происходило, и больше плыли по течению. Вдуматься в события им было некогда. Ведь с первого дня революции общественных деятелей охватил какой-то поистине психоз говорения: «Только ленивый не говорил тогда перед Думой» (Карабчевский). Автор одного из первых историко-психологических очерков русской революции, озаглавленного «Русский опыт», Рысс писал, что будущий историк первый фазис революции будет принужден назвать «периодом речей». Керенский вспоминает, какое величайшее удовлетворение доставляла ему возможность произносить слова о свободе освобождающемуся народу. Вероятно, не один Керенский – оратор по призванию и профессии – испытывал такое ощущение потребности высказаться<sup>49</sup>. И только впоследствии начинало казаться, что делали они это поневоле, чтобы «поток красивых слов погасить огонь возбуждения или, наоборот, пожаром слов поднять возбуждение». По выражению американского наблюдателя инж. Рута, прибывшего в Россию с железнодорожной миссией, Россия превратилась в нацию из 180 миллионов ораторов. Этого психоза далеко не чужд был и тот, кто по общему признанию доминировал в рядах «цензовой общественности» и был вдохновителем политической линии Временного Комитета. Сам Милюков охотно воспользовался антитезой биографа кн. Львова, противопоставившего в революции «чувство» Керенского «уму» Милюкова. Приходится, однако, признать, что синтетический ум Милюкова не сыграл в решающую

<sup>49</sup> Это не было и специфической чертой интеллигенции. В одном из последующих документов революции (доклад депутатов в Врем. Ком. о поездках в провинцию) зарегистрирован яркий бытовой облик деревенского оратора, приехавшего из центра односельчанина: «Говорит, говорит – уморится; сядет, закроет глаза и сидит, пока не отойдет немного, отошел – опять начинается, пока опять из сил не выбьется».

ночь должной роли и не только потому, что Милюков, как записывала та же Гиппиус, органически не мог понять революции.

Отрицательные результаты недоговоренности сказались очень скоро. В ближайшие же дни неопределенность в вопросе об юридическом завершении революции, о формах временной правительственной власти и о методе действия согласившихся сторон создала трудное положение. Это роковым образом прежде всего сказалось на судьбах отрекшегося от престола монарха. о, отошел – опять начинает, пока опять из сил не выбьется».

## **Глава вторая. В поисках компромисса**

### **I. Несостоявшаяся поездка Родзянко**

В предварительных ночных переговорах представители думского комитета отвергли непредрешическую формулу решения вопроса о государственной власти, предложенную делегатами Совета, – отвергли потому, что Врем. Ком., по словам Милюкова, уж предпринимал меры к замене Николая II Михаилом. К сожалению, Милюков сам не рассказал, какие были сделаны в этом отношении конкретные шаги, и потому остается неизвестным, что именно имел в виду здесь историк-мемуарист. Представители революционной демократии, как пытаются утверждать мемуаристы и историки левого сектора нашей общественности, вообще не интересовались в это время Царем и династией, «не придавая всей этой политической возне никакого значения» (Чернов). До такой степени все «само собой разумелось», вплоть до «низложения Николая II», что в «эти дни, – вспоминает Суханов, – никто из нас не заботился о практическом и формальном осуществлении этого “акта”: никакие усилия, никакая дипломатия, никакие козни “правого крыла” тут ничего не могли изменить ни на йоту».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.